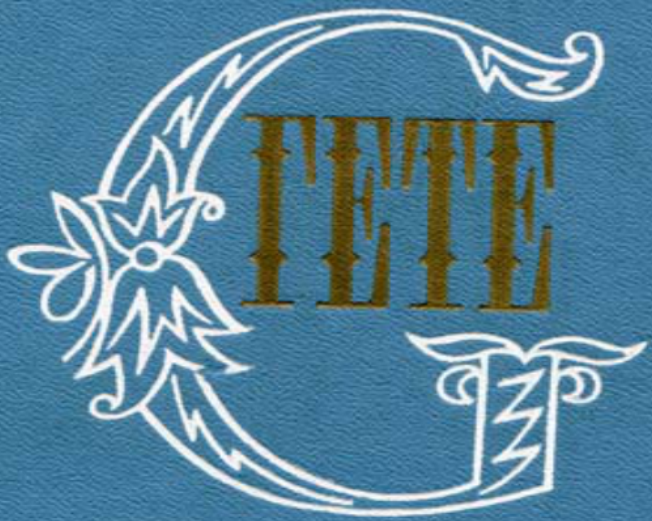
ГЕТЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В «Кампании 1792 года» Гете не «проходит мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни». Две политические формации поставлены друг против друга, две армии решают судьбы истории: армия полуфеодальной Европы и армия революционной Франции.

- Иоганн Вольфганг Гете
  -
  - КОММЕНТАРИИ
    ■
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Иоганн Вольфганг Гете
КАМПАНИЯ ВО ФРАНЦИИ 1792 ГОДА

И я был в Шампани!

23 августа 1792 г.

Тотчас же по прибытии в Майнц я нанес визит господину фон Штейну Старшему. Королевско-прусский камергер и оберфорстмейстер двора его величества, он исполнял здесь как бы должность резидента, проявляя лютую ненависть ко всему, что только пахло революцией. Обрисовав в беглых чертах дислокацию союзных армий, он снабдил меня извлечением из «Топографического атласа Германии», изданного Йегером во Франкфурте под условным заглавием «Театр военных действий».

Днем, за обедом у Штейна, мне выпал случай повстречаться со знатными французскими дамами, к которым я присматривался с сугубым любопытством. Одна из них (мне сказали, что она любовница герцога Орлеанского) была статной женщиной уже в летах, с агатовыми глазами и с черными как смоль волосами, бровями и ресницами. Величаво-горделивая во всех своих повадках, она соблюдала сдержанную приветливость в застольных беседах. Дочь этой дамы, живой портрет матери в юном ее возрасте, за все время не промолвила ни словечка. Тем оживленнее и прельстительней казалась княгиня Монако, не скрывавшая своей близости с принцем Конде, — бесценное украшение Шантийи в счастливую его пору. Кто мог бы сравниться с этой стройной белокурой красавицей, юной, жизнерадостной, склонной к изящной шаловливости? Ни один мужчина не устоял бы перед нею, стоило ей только захотеть. Я смотрел на нее, не выдавая моего изумления. Думал ли я здесь повстречаться с другой Филиной! Но то была она, во всей ее шумливой неугомонности, свежая, неистощимо веселая. В ней — в отличие от прочих — не замечалось ни боязливой скованности, ни напряженного беспокойства. И то сказать, вся эмиграция жила здесь в постоянных тревогах, зыбких надеждах и непроходящем страхе. Как раз в эти дни союзники вторглись в пределы Франции. Сдастся ли Лонгвиль или будет сопротивляться? Перейдут ли войска республики на нашу сторону? Встанут ли все и каждый, как нам обещали, за «правое дело», что не в пример

облегчило бы наше продвижение? Все эти вопросы, чаяния и сомнения не получали четкого ответа. Ждали курьеров. Но вот они прибыли с неутешительной вестью, что наши войска продвигаются крайне медленно из-за полного бездорожья. Затаенное стремление всех эмигрантов — как можно скорее вернуться на родину — к тому же омрачалось еще и опасением, что не так-то трудно было догадаться об истинной причине их нетерпения, а именно — о радужной надежде этих господ извлечь немалую пользу из ассигнаций, этого изобретения их врагов, чтобы тем быстрее вернуться к былой удобной и вольготной жизни.

Два вечера я провел в приятном общении с Губерами, с Земмерингами, Форстерами и прочими друзьями. Здесь на меня опять дохнуло воздухом отечества. В большинстве своем давние знакомые и товарищи по университету, они все чувствовали себя как дома в близлежащем Франкфурте (супруга Земмерринга была франкфуртской уроженкой); все без исключения знали мою мать, восхищались ее яркой самобытностью, приводили иные меткие ее суждения и наперебой меня уверяли, что я очень ее напоминаю как живостью речи, так и веселым своим нравом. Сколько поводов, сколько отзвуков былого воскрешало нашу прежнюю близость, исконную и вошедшую в привычку! Благодушные шутки, намекавшие на давние ученые дискуссии и философские потасовки, поддерживали в нас безмятежное веселье. О политике мы не говорили. Все понимали, что нужно щадить друг друга. Мои друзья не слишком скрывали свои республиканские убеждения, а ведь я спешил пристать к союзной армии, которая как раз собиралась покончить с такими умонастроениями и с вытекавшими из них последствиями.

Между Майнцем и Бингеном я стал невольным свидетелем сцены, проливающей свет на все происходившее. Наш легкий экипаж без труда нагнал тяжело груженную карету, запряженную в четверку лошадей. Вконец изъезженная колея на холмистом скате принудила нас выйти из экипажа; послезали с козел и ямщики. Мы спросили их, кто это едет перед нами. Почтальон перегруженной кареты нам ответил, бранясь и кляня все на свете, — француженки. Они, чай, думают, что им с их дрянными бумажонками все дороги открыты, но он им еще покажет: вывалит их на первом же повороте. Мы указали ему на непристойность подобных речей, но это ничуть его не образумило. Ехали мы очень медленно, что дало мне возможность подойти к спущенному оконцу кареты и дружелюбно заговорить с милой дамочкой, отчего ее молодое лицо, омраченное заботами и опасениями, заметно просветлело.

Она поспешила мне сообщить, что едет в Трир к своему супругу, а там, при первой же возможности, — во Францию. Я попытался ей втолковать, какими опасностями чревата столь опрометчивая поспешность, в ответ на что она откровенно призналась, что ею руководит не одно лишь желание поскорее свидеться с мужем, но и необходимость безвозбранно расходовать республиканские ассигнации. Она так твердо верила в победоносное наступление объединенных сил пруссаков, австрийцев и эмигрантов, что удержать ее от рискованной затеи смогли бы разве что само время и полное бездорожье.

И что же, еще не кончились наши пересуды, как уже объявилась новая непредвиденная беда: дорогу, идущую глубокой лощиной, нежданно перегородил деревянный желоб, посредством которого подавалась потребная вода наливной мельнице по ту сторону дороги. Высота подпор этого сооружения предусматривала разве что высоту телеги с сеном, но для не в меру нагруженной кареты, увенчанной пирамидой из разных сундучков и коробок, желоб стал неодолимым препятствием.

Тут брань и проклятья ямщиков, уразумевших, какой потерей времени грозит им эта новая задержка, возобновились с удвоенной силой. Но мы предложили несчастной дамочке дружескую помощь и сами стали снимать и вновь увязывать поклажу по ту сторону водоточивого шлагбаума.

Симпатичная молодая дама, заметно ободренная нашей помощью, не знала, как и благодарить нас. Но вместе с благодарностью непомерно возросли и ее надежды на наши дальнейшие услуги. Уже она вручила мне клочок бумажки с именем ее мужа, настойчиво прося оставить для нее у городских ворот сведения о местонахождении ее супруга. В том, что мы раньше нее прибудем в Трир, она не сомневалась. Но город был так велик, что трудно было ждать успешности наших поисков. Однако дамочка никак не хотела расстаться со своей верой в наше всемогущество.

Прибыв в Трир, мы убедились воочию, что город до отказа забит войсками и экипажами всех мыслимых образцов; найти себе пристанище было, видимо, невозможно. Одна из площадей была сплошь уставлена каретами. Люди скитались по улицам, тщетно взывая о помощи к вконец растерянным квартирьерам. Хаос подобен лотерее: кому повезет, вытянет счастливый номер. Мне, по счастью, повстречался лейтенант фон Фрич из полка нашего герцога. После самых дружеских приветствий он препроводил меня к канонику, в его огромный дом с обширным двором, который принял меня, мой экипаж и скромную поклажу. Встреченный не менее дружелюбно и здесь, я сразу же предался

желанному отдыху. Мой юный марциальный друг был мне знаком, то бишь представлен, еще ребенком; теперь он получил задание позаботиться здесь, в Трире, о больных, принимать и направлять в воинские части отставших, а также обозы с провиантом и боевыми припасами. Мне-то это было на руку, конечно, но сам он неохотно оставался в тылу, где для него, человека молодого и честолюбивого, не представляли случай отличиться.

Мой слуга, едва успев распаковать необходимейшее, отпросился в город, чтобы в нем осмотреться. Вернулся он поздно, а наутро непонятное беспокойство вновь погнало его прочь из дома. Я поначалу не знал, чем и объяснить столь странное его поведение; но вскоре загадка разъяснилась: прекрасная француженка и ее спутница не обошли и его благодарностью. Он лез вон из кожи, стараясь разыскать их, в чем и преуспел, узнав среди сотен карет их колымагу по водруженному на ней множеству всякой поклажи. Но найти супруга хорошенькой барыньки ему — увы! — так и не удалось.

На пути из Трира к Люксембургу меня весьма порадовал дивный монумент, воздвигнутый неподалеку от Игеля. Я знал, как удачно древние выбирали места для своих храмов и памятников, а потому, мысленно отбросив все окружавшие его крестьянские хижины, я мог сполна убедиться, что и ему было предоставлено достойное месторасположение. Рядом протекает Мозель, с которым здесь воссоединяется другая река — многоводный Саар. Изгибы двух рек, волнообразно вздымающиеся холмы, пышная зелень — все это придает сему уголку земли неизъяснимое очарование.

Памятник близ Игеля можно по праву назвать обелиском с архитектоническими и пластическими украшениями. Несколько поставленных друг на друга ярусов, различных по художественному их убранству, стройно возносятся ввысь; их увенчивает шпиль, покрытый чешуйчатой черепицей, завершающийся шаром, орлом и змеей.

Быть может, наше неспокойное время забросит сюда дельного инженера и на какой-то срок прикрепит его к данной местности; если он не поскупится затратить время на обмер этого сооружения и, будучи к тому же рисовальщиком, воссоздаст, нам на радость, также и расположенные на четырех сторонах монумента нестершиеся изображения, это будет отлично.

Сколько безрадостных, лишенных каких-либо украшений обелисков было воздвигнуто в мое время без того, чтобы кто-либо вспомнил об этом памятнике! Правда, этот обелиск относится к поздней эпохе античной культуры, но в нем еще чувствуется

стремление человека зримо запечатлеть и передать далеким потомкам свое пребывание на земле вместе со всем, что тебя окружает и свидетельствует о твоей деятельности, о твоем житье-бытье. Вот родители и дети в тесном кругу сидят за обеденным столом, а чтобы зритель знал, откуда бралось их богатство, ниже везут товары ломовые лошади; многообразно воспроизведены торговля и ремесла. Ведь этот памятник был, надо думать, сооружен тогдашними завоевателями для себя и для своих — в знак того, что и в этом краю, прежде и теперь, можно достичь полного житейского благополучия.

Весь этот пирамидально построенный памятник был сложен из грубо отесанных плит песчаника, на его сторонах, как на поверхности скалы, были высечены выразительные рельефы. Долговечность сооружения, простоявшего столько веков, очевидно объясняется капитальностью его кладки.

Долго предаваться таким мирным и приятным размышлениям мне, однако, не пришлось. Дело в том, что тут же рядом было для меня уготовано совсем другое, современнейшее зрелище: в Груневальде стоял корпус эмигрантов, сплошь укомплектованный дворянами, в большинстве своем к тому же кавалерами ордена святого Людовика. Ни слуг, ни конюхов у них не было; все они самолично обслуживали себя и своих лошадей. Я видел не раз, как иные из них вели коней на водопой или на перековку в кузню. Тем ярче контрастировал с этим смиренным самообслуживанием вид большого луга, густо уставленного каретами и дормезами. Благородные кавалеры прибыли сюда с женами и любовницами, чадами и домочадцами, как бы желая наглядно показать несоответствие нынешнего их положения с некогда привычным.

Часами дожидаясь почтовых лошадей под открытым небом, я обогатился еще одним примечательным впечатлением. Сидя неподалеку от окна почтовой станции, я наблюдал за ящиком, в прорезь которого опускались нефранкованные письма. Никогда не случалось мне видеть столь людной толпы возле почтового ящика подобного назначения: письма сотнями бросались в его прорезь. Нельзя было нагляднее и убедительнее изобразить безудержное стремление злосчастных изгнанников просочиться телом, душой и помыслами в свое отечество, хотя бы только через жалкую промоину, образовавшуюся в этой плотине.

От скуки и по укоренившейся привычке угадывать и уснащать подробностями чужие тайны, я невольно думал о том, что содержится в этом скопище писем. Уже мне мерещилась любящая девушка, вложившая всю горечь разлуки, всю страсть и мучительную боль одиночества в письмо к далекому милому;

мерещился несчастный скиталец, молящий верного друга прислать ему хоть малую сумму денег — так туго скрутила его нужда; мерещились бежавшие женщины с детьми и домочадцами, в кошельке которых сиротливо звенели последние луидоры; а также — ярые приверженцы принцев, стремящиеся поддержать друг в друге бодрость и мужество, веру в близкую победу; а рядом с ними — воображались другие, уже чувствующие жестокий приговор судьбы и заранее сетующие о потере всего их состояния. Не думаю, чтобы я так уж ошибался в моих предположениях.

Многое разъяснил мне здешний почтмейстер: желая унять мое нетерпение, он всячески старался развлечь меня разговором, показывал множество писем из отдаленных мест с почтовыми штемпелями, которым теперь предстояло блуждать в поисках лиц, то ли прорвавшихся вперед, то ли задержавшихся в пути. Франция на всем протяжении ее границ — от Антверпена до Ниццы — осаждается вот такими несчастными. Но вдоль тех же границ стоят французские войска, готовясь к защите и к нападению. Он высказал многое, над чем стоило бы призадуматься. Сложившиеся обстоятельства казались ему по меньшей мере весьма неясными.

Я не был так озлоблен, как прочие, стремившиеся прорваться во Францию, отчего он, видимо, принял меня за республиканца и стал говорить со мною более откровенно. Он не скрывал от меня тех бедствий, которые уже пришлось пережить пруссакам, натерпевшимся от непогоды и распутицы на пути от Кобленца к Триру, и обрисовал в самых мрачных тонах положение союзных армий в окрестностях Лонгви, куда я теперь направлялся. Он был, как видно, хорошо осведомлен касательно хода кампании и охотно делился своими сведениями. Сообщил он мне и о том, как грабили пруссаки, особливо обозники и мародеры, мирные деревни и ни в чем не повинных крестьян. Правда, грабителей для виду наказывали, но возмущенных крестьян это не утешало.

Тут я мгновенно вспомнил одного генерала времен Тридцатилетней войны, сказавшего в ответ по поводу жалоб населения дружественной страны на бесчинства, чинимые его солдатами: «Не могу же я носить в мешке свою армию!»

Крепость Лонгви, о взятии которой мне радостно возвестили еще в пути, я оставил справа, на некотором расстоянии от дороги, и к вечеру двадцать седьмого августа прибыл к местонахождению наших войск близ Прокура. Лагерь раскинулся на плоской равнине и был весь виден как на ладони, но добраться до него было не так-то просто. Мокрая, изрытая почва затрудняла продвижение лошадей и экипажей. К тому же бросилось в глаза, что нигде нам не повстречались ни заставы, ни сторожевые посты.

Никто не спрашивал у нас паспортов, но и не у кого было спросить дорогу. Мы ехали по устланной палатками пустыне: все живое искало жалкую защиту от непогоды. С великим трудом удалось разузнать, где стоял полк герцога Веймарского. Но вот мы добрались до места назначения и увидели знакомые нам лица; нас встретили как товарищей по несчастью. Первый приветствовал нас камерьер Вагнер с его черным пуделем. Оба узнали своего многолетнего знакомца, вместе с которым предстояло пережить еще одну пренеприятную полосу жизни. Услышал я здесь и еще об одном прискорбном происшествии: конь нашего государя, Амарант, вчера, дико заржав, замертво пал на землю.

То, что я услышал и увидел в лагере, далеко превосходило самые мрачные предсказания почтмейстера. Представьте себе пологий холм, у подножья которого был некогда выкопан ров, спасавший луга и поля от затопления. Ров этот вскорости превратился в место свалки всевозможной дряни и мусора; он заполнился до краев, и когда непрекращавшиеся дожди прорвали ночью земляную плотину, омерзительные нечистоты хлынули наружу. Все потроха и кости, выбрасывавшиеся мясниками, подступили к солдатским койкам, и без того промокшим и испакощенным.

И мне хотели тоже предложить палатку, но я предпочел день проводить у друзей и знакомых, а ночь — в моем дормезе, удобство которого я оценил за долгие годы. Как ни странно, но добраться до моей кареты, стоявшей всего в тринадцати шагах от палаток, было почти невозможно, так что вечером меня в нее вносили на руках, а утром тем же способом из нее извлекали.

28 августа.

Под таким знаком занялся на сей раз день моего рождения. Мы сели на коней и поехали в отвоеванную крепость. Городок, хорошо отстроенный и укрепленный, стоит на возвышенности. Я решил обзавестись большими шерстяными одеялами и с этой целью направился вместе с товарищами в близлежащую лавку, где обслуживали покупателей почтенная женщина с премиленькой дочерью. Не торгуясь, мы накупили здесь все, что нам приглянулось, и полюбезничали с продавщицами в меру отпущенных нам, неуклюжим немцам, галантных способностей.

Дому, в котором помещалась лавка, повезло во время обстрела города. Множество гранат попадало в помещения, где проживали хозяева; всё и все бежали. Мать едва успела вынуть дитя из колыбели, как вдруг новая граната пробила подушку, на которой еще мгновение назад спал младенец. К счастью, ни одна

граната не взорвалась. Пострадала мебель, опалило панели в одной из комнат, не причинив худшего ущерба. Но в лавку ни одно ядро не угодило.

Жители Лонгви не отличались особым патриотизмом, что явствовало уже из того, как быстро они принудили коменданта сдать их город противнику. Не успели мы выйти из лавки, как сразу же нам открылся внутренний раскол населения. Монархисты, а значит, наши друзья, благодаря которым мы так скоро захватили Лонгви, горько сетовали, что мы по оплошке зашли в магазин ярого якобинца и дали возможность выручить уйму денег подлому человеку, который со всей-то своей семьей и ломаного гроша не стоит. Они же нас предупредили, что одна, с виду шикарнейшая, гостиница зело подозрительна; доверять безвредности тамошней пищи никак-де не стоит, и тут же горячо рекомендовали нам другую, более скромную, но надежную, где нас и впрямь встретили весьма радушно и недурно накормили.

Тут мы сошлись за общим столом, старые товарищи по оружию, по гарнизону и по службе герцогу Веймарскому, усевшись друг подле друга или супротив друг друга: офицеры герцогского полка, приближенные государя и служащие личной его светлости канцелярии. Говорили о недавних событиях, о значительном и всех воодушевившем майском дне в Ашерслебене, когда войска получили приказ готовиться к предстоящему походу; вспоминали, как нас посетил сам герцог Брауншвейгский вкупе с другими генералами. Не позабыт был и маркиз де Буйе, иноземец, принявший деятельное участие в разработке предстоявших военных операций. Как только его имя коснулось уха нашего хозяина, усердно внимавшего нашим речам, он поспешил осведомиться, знаем ли мы его лично. Большинство из нас могло ответить на сей вопрос утвердительно. Хозяин лишний раз выказал нам свое полное уважение и изъявил надежду, что содействие столь достойного мужа будет и впредь нам полезно. Мне даже показалось, что после этого нас стали обслуживать еще внимательнее.

Поскольку все мы, здесь собравшиеся, были душой и телом преданы нашему государю, достойно правившему своей страной вот уже столько лет, а ныне взявшемуся за ремесло военачальника, о чем он мечтал с ранней юности, и тут оказавшись на высоте, мы, по исконно немецкому обычаю, усердно звенели бокалами во здравие его светлости и всего его дома, особливо же принца Бернгарда, крестным отцом коего был майор фон Вейрах, представлявший полк, каковым командовал герцог на крещении принца, состоявшемся в самый канун кампании.

Но и о нынешнем походе каждый мог рассказать немало: о том, к примеру, как мы, оставив Гарц по левую руку, пошли на Нортгейм, минуя Гослар, прямиком через Геттинген. Не поскупились собутыльники и на отзывы о перевиданных квартирах, превосходных и, напротив, прескверных, о хозяевах, по-мужицки неприветливых, о просвещенных скептиках, мрачных или ипохондрически-благодушных, о женских монастырях, о разительных переменах в ландшафтах и в погоде. После Нортгейма Веймарский полк, не переступая восточной границы Вестфалии, дошел до Кобленца: вспоминались хорошенькие женщины, чудаковатые попы, нежданные встречи с друзьями, разбитые колеса, опрокинутые кареты — словом, всякая всячина.

Начиная с Кобленца, не затихали жалобы на пересеченную местность, на труднопроходимые дороги и недостатки в снабжении. Рассеявшись воспоминаниями о прошлом, мы перешли к неприглядному настоящему. Вторжение во Францию в ужасную непогоду всеми ощущалось как истинное бедствие, чуть ли не как зловещий пролог к тому, что нас ожидало по возвращении в лагерь. Однако в такой неунывающей компании каждый почерпал мужество у другого. Меня же больше всего утешал вид великолепных теплых одеял, которые мой слуга приторочил к седлу запасной лошади.

В лагере, в нашем большом шатре, я застал наилучшее общество; никто не уходил, страшась непогоды. Все были в отличном настроении и полны самых радужных надежд. Молниеносная сдача Лонгви явно подтверждала заверения эмигрантов, что нас всюду будут встречать с распростертыми объятьями. Казалось, нашему наступлению препятствовала одна лишь погода. Пруссаки, австрийцы, эмигранты — все ненавидели революционную Францию и питали к ней презрение, высказанное в грозном манифесте герцога Брауншвейгского.

И то сказать, черпая факты из наших официальных воззваний и реляций, можно было легко заключить, что народ, в такой степени утративший общую идею, расколовшийся уже не на партии даже, а на отдельные единицы, не сможет противостоять высокому чувству единства союзников, воодушевленных благороднейшей целью.

Было что рассказать и о уже совершенных нами воинских подвигах. Сразу же после вступления на французскую землю пять эскадронов наших гусар под командой бравого фон Вольфрата натолкнулись при рекогносцировке на тысячу французских стрелков наблюдавших за продвижением нашего войска со стороны Седана. Предводимые отважным офицером, наши напали первыми, но и противная сторона мужественно оборонялась и не

просила пардона. Началась ужасная резня, в которой наши одержали победу, взяли пленных, захватили лошадей, карабины, сабли. Такое славное начало укрепило воинственный дух, утвердило светлые надежды. Двадцать девятого августа мы снялись с места и начали медленно, но верно выбираться из полузастывшего месива. Как можно было здесь содержать в чистоте мундиры и снаряжение, равно как и палатки, если не было ни одного сухого местечка, где бы можно было почиститься, разостлать и сложить как положено свои вещи.

Однако внимание, уделявшееся нашему выступлению самими высокими чинами, вселяло в нас новую уверенность. Всем повозкам и экипажам было строжайше приказано следовать позади колонны. Лишь командирам полков дозволялось ехать в экипаже впереди своих частей, благодаря чему мне и выпало счастье продвигаться в герцогской карете во главе всей армии. Оба полководца, прусский король и герцог Брауншвейгский, со своими свитами заняли позицию, дающую им возможность пропустить мимо себя всю союзную армию. Я увидел их еще издали, и когда мы к ним приблизились, его величество подъехал к моей карете и в привычной для него сугубо лаконичной манере спросил: «Чья карета?» Я громко ответил: «Герцога Веймарского!» — и мы поехали дальше. Вряд ли чью-нибудь карету когда-либо окликало столь высокое лицо.

Далее дорога заметно улучшалась. В такой чудной местности, где холмы сменяли долины, а долины — холмы, для верховых лошадей оставалось еще довольно сухого пространства, чтобы спокойно продвигаться вперед. Я сел на коня, и дело пошло на лад. Наш полк, как сказано, шел в авангарде союзной армии, и это дало нам возможность вырваться вперед, не считаясь с медлительным продвижением колонн.

Свернув с большой дороги и миновав Арронси, мы достигли Шатийон-Лаббе, первого предвестника совершившейся революции: обмирщвленное и уже проданное бывшее владение Римской церкви с ныне упраздненным монастырем, ограда которого была частию снесена, частию порушена.

Тут-то мы и сподобились лицезреть его величество короля, на борзом коне через холмы и долины промчавшегося мимо нас — подобно ядру кометы с предлинным хвостом его свиты. Как только сей феномен исчез с быстротою молнии из поля нашего зрения, с иной стороны другой всадник, на миг увенчавший безымянную высоту, своей особой, тут же устремился вниз, к равнине. То был герцог Брауншвейгский — вторая комета со сходным хвостом из ординарцев и штабных офицеров. Мы, более склонные наблюдать, нежели судить и рядить, все же невольно

спрашивали себя, кто же из этих двух, по сути, главнейший? Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья.

Смущало нас и то, что оба полководца так бесстрашно и беспечно вступают в чуждые пределы, где за каждым кустом может таиться их смертельный враг. Но, с другой стороны, кто не слышал, что личная отвага приносит победу, что храбрость города берет и что горние силы покровительствуют бесстрашному.

Все небо было сплошь затянуто облаками, но незримое солнце изрядно припекало. Повозки тонули в рыхлой песчаной почве и едва могли продвигаться. Разбитые колеса повозок, карет и пушек то и дело прерывали продвижение; вконец измученные пехотинцы падали в полном изнеможении. Но вдали слышалась канонада под Тьон-Виллем. Все желали успеха нашему оружию.

Вечером мы отдыхали в лагере близ Пиллона. Прелестная лесная поляна обдавала нас живительной прохладой; не было здесь недостатка и в кустарниках для кухонных костров; протекавший тут же полноводный ручей образовал две заводи с прозрачной водой, которую вот-вот грозили замутить люди и животные. На одну заводь я махнул рукой, но другую отстаивал энергично, велев окружить ее кольями и вервием. Пришлось немало покричать на особо напористых вояк. Я слышал, как один из наших конников, занятых надраиванием сбруи, спросил другого: «Кто это там корчит из себя начальство?» Тот ответил: «Не знаю, но он дело говорит».

Вот так вторглись пруссаки и австрийцы вместе с французскими приспешниками во французские пределы, чтобы там показать свою воинскую доблесть. Но по чьему приказу мы сюда пришли? Можно, конечно, вести войну и по собственному почину, да к тому же война была нами отчасти все же объявлена, и ни для кого не было секретом, что мы состояли в союзе с австрийцами. Но дипломаты изобрели совсем особую теорию: мы-де здесь выступаем как бы от имени Людовика XVI, посему мы занимаемся никак не реквизицией, а всего лишь берем насильственно взаймы. Были отпечатаны боны, подписанные главнокомандующим, и таковые каждый, у кого они имелись, мог заполнять по своему усмотрению. Предполагалось, что их оплатит все тот же король Людовик. После манифеста герцога Брауншвейгского, быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия. Я и сам был свидетелем глубоко трагической сцены, которая мне запомнилась на всю жизнь. Несколько пастухов соединили свои

отары, чтобы скрыть их в лесах или в другом каком-либо укромном месте. Но наши ретивые патрули их выследили и привели в наш лагерь, где их встретили поначалу вежливо и дружелюбно, расспрашивали, кто владелец этих овец; подсчитали и разделили каждое стадо в отдельности. На лицах этого трудового люда страх и заботы чередовались с проблесками зыбкой надежды. Но когда вся эта длительная процедура завершилась тем, что овцы были поделены между полками и подразделениями, а пастухам вежливо вручили боны, выписанные на имя Людовика XVI и тут же, на их глазах, изголодавшаяся по мясу солдатня принялась умерщвлять их курчавых подопечных, то, сознаюсь, мне едва ли когда-либо случалось видеть столь жестокую сцену и такую гложущую боль пострадавших во всех ее проявлениях. Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною такого неизбывного горя.

30 августа.

Мы ждали, что день, когда мы подойдем к стенам Вердена, принесет нам немало разных приключений, и не ошиблись. Дорога, вся в отлогих подъемах и спусках, заметно просыхала; телеги уже не увязали в грязи, а ехать верхом на добром коне доставляло даже немалое удовольствие.

Подобралась веселая компания отличных всадников. Вырвавшись вперед, мы вскоре примкнули к отряду гусар, конной разведке всей союзной армии. Ротмистр, человек солидный и уже немолодой, не очень обрадовался нашему прибытию. Ему была вменена в обязанность строжайшая осмотрительность: все должно было совершаться точно по предписанию, благоразумно предотвращая нежелательные случайности. Ротмистр искусно рассредоточил своих людей, продвигавшихся вперед поодиночке, соблюдая известную дистанцию. Все проводилось с соблюдением тишины и величайшего порядка. Местность была пустынна, полное безлюдье порождало дурные предчувствия. Так от холма к холму мы прошли Манжьенн, Дамвиллер, Вавриль и достигли Ормана, где нам открылся широкий вид на поля и виноградники, как вдруг раздался одиночный выстрел. Гусары тут же кинулись обыскивать близлежащую местность и вскоре привели черноволосого бородатого человека, диковатого на вид, с проржавленным пистолетом в кармане. Он упрямо утверждал, что — только и всего — гонял птиц со своего виноградника и никому вреда не причинял. Ротмистр, поразмыслив, как следует здесь поступить, не нарушая полученных инструкций, решил отпустить «злоумышленника», предварительно пнув его коленкой, что заметно способствовало стремительности его ретирады. Солдаты

с громким гиканьем бросили ему вслед позабытую шляпу, но он предпочел оставить ее в руках противника.

Отряд продолжал свой путь, рассуждая о происшедшем и о том, что еще может с нами приключиться. Надо сказать, что наша небольшая компания, навязавшаяся в попутчики гусарам, состояла из людей довольно случайно сошедшихся, но, впрочем, прямодушных и преданных насущным требованиям. Но об одном из них выскажусь особо: это был человек серьезный, внушающий к себе уважение, каких тогда нередко можно было встретить среди прусского офицерства. Получивший скорее эстетическое, нежели философическое воспитание, он заметно отличался от прочих ипохондрической чертою характера, некоторой замкнутостью и гуманной склонностью благодетельствовать простому народу.

Случилось, что в пути мы столкнулись с еще одним явлением, столь же странным, сколь и приятным, вызвавшим всеобщее участие. Двое гусар вкатили на пригорок маленькую двуколку, а когда мы осведомились, кто такой находится в повозке, за натянутым полотном, установили, что лошадью правит мальчик лет двенадцати, а в уголке притулилась девочка или совсем юная бабенка, чуть подавшаяся вперед, чтобы взглянуть на множество конников, обступивших ее прибежище о двух колесах. Все отнеслись к ней с теплым участием, но роль защитника маленькой особы была доверена нашему чувствительному другу, который, ознакомившись с «содержимым» повозки, ощутил живую потребность заняться спасением юницы. Мы от нее отступились, предоставив ему разузнать, кто она и откуда. Молодая особа, как установил ее покровитель, проживала в Самонье и, думая спастись от военной напасти, бежала из родных мест, и вот оказалась в самой пасти чудовища. Человек, обуянный страхом, обычно думает, что всюду хорошо, где его нет. Но мы в один голос дружески ей разъяснили, что всего вернее оставаться дома. Даже наш ротмистр, всех подозревавший в шпионстве, на сей раз был убежден чистосердечной риторикой высоконравственного воина. Красотке дали в провожатые двух гусар, и она, заметно утешившись, отправилась восвояси. Строго соблюдая военную дисциплину, мы вскоре побывали в ее поселке и проездом с ней повстречались: она стояла среди родных на низенькой каменной ограде и доверчиво помахала нам ручкой, с благодарностью вспоминая о счастливом исходе ее первой встречи с нами.

В самый разгар войны порой выпадают счастливые паузы, когда возможно пристойным поведением восстановить на краткий срок подобие законности и мира и этим обрести доверие

жителей оккупированной страны. Такие паузы драгоценны для горожан и сельских жителей — для всех, у кого непрерывные ужасы войны не вовсе отняли веру в человека и человечность.

Наш лагерь был раскинут по сю сторону от Вердена. Ждем, что нам удастся здесь прожить несколько дней в относительном спокойствии.

Утром тридцать первого, едва очнувшись от сна в своем дормезе, бесспорно самой лучшей, сухой и теплой из опочивален, я услышал, как зашуршал кожаный полог кареты. Приподняв его, я увидел герцога Веймарского и рядом с ним нежданного гостя. Я сразу узнал в нем чудодея Гротуса, усердного искателя приключений. Он и сюда, верный своей роли, прибыл предложить себя в качестве уполномоченного командованием для передачи противнику нашего ультиматума о сдаче крепости и спросить согласие герцога предоставить в его распоряжение штабного трубача. Назначение парламентером и прикомандирование к нему трубача несказанно обрадовало Гротуса. Помня прежние чудачества, мы все весело поздравляли его с почетным отличием. Гротус незамедлительно приступил к исполнению своей миссии, над чем впоследствии немало подшучивали. Если верить насмешникам, он горделиво поскакал к воротам Вердена с трубачом впереди и гусаром позади. Но верденцы, как истые санкюлоты, то ли по незнанию, то ли из презрения к международному праву, открыли по нему обстрел картечью. Тут он прикрепил к трубе свой белый носовой платок и велел трубить во всю мочь, все громче и громче. Высланный за ним отряд увел его одного к коменданту с завязанными глазами. Гротус не поскупился на красноречие, но — увы! — ничего не добился. Цель этих глумливых пересказов была одна: умалить заслуги смелого человека и закрепить за ним репутацию нелепого гидальго.

Поскольку крепость, как то и следовало ожидать, не сдалась по первому нашему требованию, надо было подумать об ее артиллерийском обстреле. День клонился к вечеру. Я провел его, трудясь над, казалось бы, несложным делом; но благие последствия его продолжают сказываться вплоть до сегодняшнего дня. В Майнце, как было сказано выше, господин фон Штейн снабдил меня отличным атласом Йегера, топографически воссоздавшим на ряде листов театр тогдашних и, как хотелось думать, также и предстоявших нам военных действий. Я изъял из атласа сорок восьмой лист — район Лонгви, где Я пристал в свое время к действующей союзной армии. С помощью формовщика, отыскавшегося среди герцогской прислуги, я вырезал соответствующую карту и велел ее, равно как и ряд других, ее продолжавших, наклеить на картон, решив на их белую изнанку

наносить свои краткие пометы, каковые мне и теперь помогают восстанавливать воспоминания о давних днях, важных для меня и для потомства.

После этих приготовлений, полезных в будущем и пригодных для настоящего, я осматривал луг, где мы стояли биваком и где наши палатки тянулись до близлежащих холмов. Мое внимание приковало к себе странное занятие солдат, усевшихся кружком на зеленой мураве. Подойдя поближе, я увидел, что они расположились вокруг воронки диаметром в футов тридцать, наполненной чистейшей родниковой водой. В ней плавали бесчисленные рыбешки, которых солдаты вылавливали мелкими сетями и бросали в банки и ведрышко. Вода была поразительно прозрачна, и смотреть на ловлю доставляло мне немалое удовольствие. Но я недолго утешался этой игрой, так как нежданно-негаданно заметил, что юркие рыбки переливаются всеми цветами радуги. Сначала я было подумал, что эти верткие малявки сами меняют свою окраску, но вскоре, к вящей моей радости, мне открылась истинная суть сего явления. На дне воронки лежал фаянсовый черепок, который посылал мне из водной глуби прелестные призматические цвета. Черепок, более светлый, чем дно воронки, как бы рвался навстречу глазу, являя на противоположном от меня краешке голубую и фиолетовую краску, а на ближайшем ко мне «бережку» — красную и желтую. Когда я обходил воронку, явление передвигалось вместе со мной. От подобного, тесно сопряженного с наблюдателем, феномена ничего другого и ждать не приходилось: соотношение цветов оставалось неизменным.

И без того страстно увлеченный явлениями света, цвета и глаза, я был крайне обрадован, что все это мне довелось увидеть под открытым небом, тогда как ученые физики для той же цели вот уже чуть ли не столетие запираются в темной камере со своими учениками. Я разыскал еще несколько осколков посуды и один за другим бросал их в воду, наблюдая, как феномен обнаруживал себя сразу же по погружении черепка, как он потом постепенно усиливался и все кончалось тем, что беленький, ярко расцвеченный, предмет оседал на дно в виде язычка пламени. Мне вспомнилось, что о том же говорил еще Агрикола, напрасно относя эти язычки к феноменам огня.

После обеда мы поскакали на холм, скрывавший от нас вид на Верден. Окруженный радующими глаз лугами и садами, город был расположен между ближними и дальними холмами в красивой долине, пересеченной несколькими рукавами Мааса, но — как крепость — он представлял собою мишень, отовсюду доступную бомбардировке. Вторая половина дня, поскольку город

еще упорствовал, целиком ушла на установки батарей. В хороший бинокль было отчетливо видно, что происходило на обращенном к нам валу и как быстро сновал по нему народ, особенно усердно действуя вокруг одной батареи, прямо на нас направленной. Около полуночи началась артиллерийская дуэль. Заговорили наши батареи с правого берега и тут же другая — с левого, расположенная ближе к городу, поливая его зажигательными бомбами и тем самым производя наибольшее впечатление на верденцев. Можно было видеть, как эти хвостатые метеоры неторопливо описывали траекторию, и как вслед за тем занималось зарево пожара то в том, то в другом городском квартале. Наши бинокли позволяли нам различать все детали происходившего. Мы видели людей на городской стене, стремящихся дотушить клокочущее пламя; видели, как рушатся стропила и отдельные бревна. Все это происходило на глазах знакомых и незнакомых мне солдат и офицеров, до меня долетали самые различные суждения, подчас весьма противоречивые. Я подошел к батарее, палившей непрерывно по осажденным. Но жуткий, сотрясающий землю гул наших гаубиц был нестерпим для моих миролюбивых ушей, и я поспешил поскорее удалиться. Тут мне встретился князь Ройсс XI всегда ко мне благоволивший. Мы стали прогуливаться с ним, придерживаясь тыловой стороны каменной ограды, тянувшейся вдоль виноградников, что спасало нас от картечи, на каковую не скупился осажденный город. Разговор на политическую тему завел нас в бесконечный лабиринт надежд и сомнений и сам собою оборвался. Князь любезно осведомился, над чем я сейчас работаю, и был крайне удивлен, услышав, что не над новой трагедией или романом, а над теорией цвета и света, на что меня вдохновил увиденный сегодня феномен рефракции. При встрече с подобным явлением природы со мною происходит то же, что во время стихотворчества: не я их творю, а они меня творят. Пробудившийся интерес вступает в свои права, и тут уж ни пушечные ядра, ни огненные шары помешать мне не могут. Князь попросил у меня удобопонятного объяснения, как я забрел в эти дебри. Сегодняшнее открытие мне помогло удовлетворить его любопытство.

Когда говоришь с человеком, подобным князю Ройссу, нет надобности впадать в многословие: его нетрудно убедить, что давний любитель природы, проводивший большую часть жизни под открытым небом, будь то в саду, на охоте, в путешествиях или во время военного похода, всегда найдет досуг и возможность наблюдать природу в целом или в различнейших ее проявлениях. К тому же сама атмосфера, туманы, дожди, земля и

водные просторы беспрестанно знакомят нас с множеством переменчивых цветовых феноменов. Условия и разные обстоятельства, в которых они возникают, так различны, что нельзя не почувствовать потребности в более близком ознакомлении с ними, в их тщательном изучении и строгой классификации, равно как в определении их взаимного родства. В любом случае мы обретаем при этом новые воззрения, весьма отличные от школьной премудрости и от издавно установившихся традиций. Наши предки были наделены острым чутьем, они умели смотреть и видеть, но их наблюдения редко доводились до конца с надлежащей последовательностью, почему им меньше всего удавалась классификация феноменов, правильное их занесение в соответствующие рубрики.

Рассуждая об этих предметах, мы прогуливались взад и вперед по росистой траве. Поощряемый резонными вопросами и встречными замечаниями, я продолжал излагать свою теорию, покуда холод наступившего утра не заставил нас пристроиться к биваку австрийцев. Их всю ночь напролет горевшие костры представляли собою огромный круг раскаленного угля, обдававшего нас благотворным теплом. Страстно увлеченный предметом, которым я занимался всего лишь два года и каковой еще бродил во мне, как молодое вино, я, быть может, не слишком бы даже интересовался, слушает меня князь или нет, если б он время от времени не вставлял разумные реплики, а под конец, подхватив нить моего доклада, не поощрил бы меня своим милостивым одобрением.

Как я не раз уже замечал, обсуждать серьезные вопросы, в том числе и научные, всего приятнее с власть имущими, владетельными особами и высокопоставленными администраторами, которым часто приходится выслушивать доклады касательно предметов, им незнакомых; тем внимательнее они слушают докладчика, преследуя единственную цель: не дать себя ввести в обман, а значит, уяснить себе существо вопроса. Напротив, рядовой ученый более склонен слушать только то, чему его учили, чему он и сам обучает своих учеников и о чем он давно договорился со своими коллегами. Место обсуждаемого предмета здесь заступает его credo, — ведь держаться общепринятого научного догмата столь же спокойно, как любого другого догматического учения.

Утро было свежее, но сухое. Намерзшись и нажарившись, мы опять зашагали вдоль ограды, как вдруг заметили какое-то движение возле виноградников. Это был пикет здесь переночевавших егерей, спешно бравших теперь свои карабины и ранцы, чтобы направиться в испепеленное предместье и, там

окопавшись, нарушать покой осажденного города, поражая одиночные цели. Идя навстречу своей более чем вероятной гибели, солдаты горланили похабные песни, что, ввиду предстоящего, было, пожалуй, и дозволительно.

Только егеря удалились, как я увидел, что на стене, возле которой они отдыхали, обнаружился любопытнейший геологический феномен: на карнизе, венчавшем белую известняковую кладку ограды, красовались камешки цвета бледно-зеленой яшмы. Я был изумлен свыше меры. Откуда они сюда попали, да еще в таком количестве? Не могли же они затесаться в известняковый раствор? Но разгадка этого морока, этого мнимого чуда, долго ждать себя не заставила. Приблизившись к известковой стене, я тотчас же установил, что эти яшмовые камешки были не чем иным, как мякишем заплесневелого хлеба. Поскольку есть их было невозможно, егеря, с юмором висельника, изукрасили ими ограду.

Это навело нас на разговор о бесконечных толках, участившихся с первых же дней, как мы вступили на территорию противника, — толках об отравлениях пищей, многих ввергших в панический ужас. Подозрения вызывали не только яства, подаваемые в трактирах, но даже хлеб собственной выпечки, хотя его заплесневелость объяснялась совсем другими, вполне естественными причинами.

Первого сентября, около восьми часов утра, обстрел города прекратился, хотя обе стороны изредка еще и обменивались отдельными ядрами. Осажденные нет-нет да палили в нас двадцатичетырехфунтовыми снарядами, чему и сами не придавали серьезного значения.

На голом холме, в стороне от виноградников, как раз против этого мощного орудия, были выставлены дозорными два гусара, получившие задание зорко наблюдать за всем, что творилось в крепости и на пустом пространстве, отделявшем нас от города. За все время, что они стояли в дозоре, с ними ничего не стряслось. Но поскольку при смене постовых число солдат на короткий срок удваивалось и сверх того набегало немало праздных зрителей, осажденные при виде такого скопища народа, не мешкая, произвели одиночный выстрел. В этот миг я стоял в ста шагах от набежавших ротозеев, обратившись спиной к гусарам, беседуя с подошедшим приятелем, как вдруг услышал позади себя свирепо свистящий, устрашающий звук снаряда и тотчас круто повернулся. Не могу сказать, чем было вызвано мое вращательное движение: угрожающим ли звуком, воздушной ли волной или душевным потрясением. Я только успел заметить, что ядро рикошетом сокрушило часть загородки и разметало толпу зевак в

разные стороны. А затем люди с криком помчались за ядром, утратившим свою губительную силу. Все были целехоньки и, овладев железным шаром, торжественно обошли с ним присутствующих.

Около полудня был нами вторично направлен ультиматум о сдаче крепости, в ответ на что комендант испросил себе двадцать четыре часа на раздумья. Мы тоже воспользовались этими часами, чтобы привести себя в надлежащий вид, запастись провиантом, объездить окрестности, причем я не раз возвращался к пресловутой воронке, обогатившей мои оптические познания. Теперь я мог спокойно продолжить свои опыты, так как все рыбки были уже выловлены, и ничем не замутненная вода давала полную возможность продолжить игру с опускавшимися на дно язычками пламени. Настроение у всех нас было превосходное.

Но несчастный случай вновь напомнил нам о войне. Какой-то офицер-артиллерист повел своего коня на водопой, так как припасенной воды у нас явно недоставало, а моя воронка, мимо которой он проехал, была так далеко расположена от дороги, что он ее не заметил. Он подъехал к протекавшему поблизости Маасу, но крутой песчаный берег вдруг отломился и пополз вместе с конем и всадником в реку. Лошадь спасли, но выловленное тело артиллериста пронесли мимо нас бездыханным.

Вскоре после этого раздался сильный взрыв в месторасположении австрийцев, на склоне холма, нам отлично видном. Взрывы повторялись, каждый раз взметая высокий столб дыма. Огонь вспыхнул по оплошности, допущенной при набивании снарядов. Возникло крайне опасное положение, тем более что пламя уже подбиралось к заряженным минам. Можно было ожидать, что весь артиллерийский парк взлетит на воздух. Но эту беду предотвратила геройская храбрость кесарцев. Презрев опасность, они поспешно вынесли за пределы парка и порох, и начиненные бомбы.

Так прошел и этот день. А наутро крепость сдалась и город перешел в наши руки. Тут мы имели случай ознакомиться с характерной чертой республиканского патриотизма. Теснимый гражданами Вердена, в свою очередь потесненными нами, — разрушение и предание огню родного города было для них равнозначным светопреставлению, — комендант (его звали Бонрепе) не посмел более оттягивать сдачу крепости. Но, подав свой голос на собравшемся в полном составе Городском совете за немедленную капитуляцию, он тут же выхватил пистолет и застрелился, явив достойный пример патриотического самопожертвования.

После неожиданно скорого падения Вердена никто уже не

сомневался в нашем дальнейшем победоносном наступлении и в том, что мы наконец-то отдохнем в Шалоне или в Эперке за чашей доброго французского вина. Я велел незамедлительно наклеить на картон всю предстоящую нам дорогу на Париж, дабы отмечать на белых задниках важнейшие события, как я и прежде это делал.

3 сентября.

Утром составилась небольшая кавалькада из желающих осмотреть отвоеванный город; к ней присоединился и я. Сразу при въезде в Верден мы удостоверились, сколь обширные приготовления производились в городе задолго до того, как мы подошли к этой цитадели. Все указывало на предполагавшуюся длительную оборону. Булыжная мостовая была сплошь разворочена, но тщательно сложена вдоль домов обездороженных улиц. Прогулка по ним, да еще в дождливую погоду, была не из приятных. Прежде всего мы заглянули в магазины, каковые все так расхваливали, где продавался ликер самых лучших марок. Мы их усердно перепробовали и немало здесь закупили нам на потребу. Среди прочих выделялся своим вкусом так называемый Baume humain, не такой сладкий, но превосходящий их крепостью. Он нам особенно пришелся по вкусу. От драже, то бишь крупинок пряностей в сахаре, продававшихся в изящных кулечках цилиндрической формы, мы тоже не отказались. Пробуя эти сладости, мы вспоминали своих милых жен и ребятишек на мирных берегах Ильма; им тоже все это пришлось бы по вкусу. Посылки были упакованы, и услужливые курьеры, направлявшиеся в глубь Германии возвещать об успехах нашего оружия, охотно соглашались доставить этот груз, способный вполне успокоить домочадцев касательно того, что мы поломничаем в стране, где не иссякают запасы вина и прочих видов довольствия.

Осматривая частично разрушенный, частично изуродованный город, мы имели повод повторить стародавнее мнение, что в злодеяниях, кои человек причиняет другому человеку, а также в бедствиях, какие природа обрушивает на земнородных, встречаются случаи, явно подтверждающие, что тут не обошлось без прямого вмешательства провидения. В нижнем этаже углового дома на рыночной площади помещается большая лавка, торгующая фаянсом. Нам рассказали, что упавшая на площадь бомба, ударившись о хрупкую штукатурную облицовку каменного косяка входной двери, отпрянула и отлетела в другую сторону. Косяк был поврежден, но отлично исполнил роль бравого авангардиста: фаянс и фарфор стояли неповрежденные, сверкая

своей поверхностью, за до блеска вычищенными зеркальными стеклами многочисленных окон этого светлого помещения.

Днем в гостинице нам подали бараний окорок и вино, принесенное из бара. Вино это не терпит перевозки, почему и приходится наслаждаться им на месте. В такого рода закусочных подают тебе только ложки, но вилки и ножи каждый должен иметь при себе. Узнав о таком обычае, мы обзавелись потребными приборами, здесь же продававшимися, изящной формы, но безо всяких рельефных украшений. Прислуживали нам веселые, шустрые девушки, всего несколько дней тому назад столь же ретиво услужавшие крепостному гарнизону.

Во время вступления наших войск в захваченный Верден произошел случай, впрочем, не повторившийся, который вызвал немало толков и участливого внимания. В Верден входили пруссаки, и вдруг из толпы грянул ружейный выстрел. Отчаянный поступок! Но совершивший его французский гренадер не мог, да и не думал отрицать, что никто, как он, хотел прикончить оккупанта. Я видел его на гауптвахте, куда его тотчас же отвели. Стройный, очень красивый молодой человек с твердым взглядом и самоуверенной манерой держаться. Пока судьба его еще не была решена, его содержали без строгости. Рядом с гауптвахтой находился мост, перекинутый через один из притоков Мааса. Молодой человек сел на перила, посидел на них сколько-то минут и потом, кувырнувшись назад через голову, сразу исчез в водной глуби. Из реки извлекли его бездыханное тело.

Этот второй, тоже как бы пророческий, героический поступок вызвал к себе страстную ненависть тех, кто только что вступил в город. Люди, прежде сдержанные и рассудительные, открыто говорили, что ни этот гренадер, ни комендант крепости не заслуживают христианского погребения. Правда, все мы ожидали здесь встретиться с совсем иным умонастроением, но французские войска не выказывали ни малейшего желания переходить на нашу сторону.

Зато нас весьма утешил рассказ о том, какие почести были оказаны прусскому королю. Четырнадцать самых красивых и благовоспитанных девиц встретили его величество любезными речами, дивными розами и отменными плодами. Приближенные советовали королю не притрагиваться к этим плодам, опасаясь отравы, но бесстрашный монарх не преминул галантно принять столь дивные дары и доверчиво их отведать. Эти прелестные девушки внушили доверие и нашим молодым офицерам. Те, кому посчастливилось побывать на балу, не уставали восхищаться их светским тактом, грациозностью и благонравием.

Позаботились и о более солидных усладах, сполна

оправдавших наилучшие наши надежды и предположения: в крепости навалом хранилось всякое добро, и все поспешили им поживиться, быть может, даже слишком избыточно. Я не раз замечал, что окороками, мясом, рисом, чечевицей и прочими необходимыми съестными припасами распоряжались не так экономно, как следовало бы в нашем положении, и это наводило на тревожные размышления. Было забавно наблюдать, как солидные люди преспокойно очищали целые арсеналы и частные собрания всевозможного огнестрельного и холодного оружия. Всякое оружие, все больше старого, чем нового образца, хранилось в бывшем монастыре. Туда же было снесено и множество редкостных средств обороны и нападения, которыми можно было обратить в бегство любого противника и его же нещадно прикончить.

Безмятежное и беспечное разграбление таких оружейных палат вошло в обиход как-то само собою. Когда город был занят, высшие военачальники, желая удостовериться в наличии складов всевозможного назначения, не обошли и арсенала. Они объявили его собственностью армии и среди находящегося в нем оружия обнаружили немало редкостных изделий, какими впору обзавестись каждому человеку. Мало кто рассматривал таковые, не выбрав себе чего-нибудь на память. Так поступали все армейские чины сверху донизу, в результате чего эта сокровищница стала добычей чуть ли не каждого. Стоило караульному дать «на чай», и можно было свободно осматривать арсенал и выбирать сувениры, сколько душе угодно. Мой слуга раздобыл себе таким путем высокую полую трость. Искусно обвязанная позолоченными нитями, она по виду казалась невиннейшим предметом, и только ее вес указывал, что в ней таится опасный вкладыш. И действительно, в ней скрывался клинок шпаги длиною в четыре фута. С помощью такой вот тросточки твердая рука могла бы творить чудеса.

Так вот мы и жили, наводя порядки и беспорядки, что уберегая, а что, напротив, уничтожая, тратясь на покупки и грабя что попадется под руку. Такой образ поведения всего губительнее для воина в военное время. Он играет роль то дерзкого насильника, то кроткого миротворца, привыкает к пышной фразе, дерзает внушать людям, находящимся в безвыходном положении, лживые надежды и неоправданную бодрость. Отсюда возникает совсем особый вид лицемерия, отличный от поповского, царедворческого и всякого иного.

Не могу не упомянуть об одном достойнейшем человеке. Я часто вспоминаю о нем, хотя видел его лишь однажды на расстоянии — за тюремной решеткой. То был почтовый

смотритель из Сент-Мену. Он имел несчастье попасть в плен к пруссакам. Любопытствующие посетители тюрем его не смущали. Казалось, он совершенно спокоен, хотя судьба его висела на волоске. Эмигранты твердили, что он заслужил тысячу смертей, и не переставали докучать высшим инстанциям юстиции. Но к чести высоких судейских чиновников нужно сказать, что они в данном случае, как и во многих других, хранили должное спокойствие, полную неприступность и подобающее беспристрастие.

4 сентября.

В наших палатках весь день царило оживленнейшее общение: уходили одни, приходили другие. Было о чем порассказать, что обсудить и что предать осуждению. Положение дел постепенно прояснялось. Все сходились на том, что надо как можно скорее прорваться к Парижу. Крепости Монмеди и Седан были нами оставлены в тылу нетронутыми, так как считалось, что их ничтожные гарнизоны не представляют для нас опасности.

Лафайет, недавний кумир французской армии, вышел из игры и, страшась возмездия, предался противникам, однако последние обходились с ним как с врагом. Дюмурье, в бытность свою министром, показал себя неплохим стратегом, но не прославился ни в одном походе и, возведенный теперь на пост главнокомандующего всей французской армии прямо из канцелярии министерства, многим казался как бы ярким примером общей растерянности и неразберихи. Но, с другой стороны, приходили вести об имевших место во вторую половину августа печальных событиях в Париже, где, вопреки манифесту герцога Брауншвейгского, король был арестован, лишен престола и признан преступником. Но особенно подробно мы все же обсуждали наши ближайшие военные операции.

Поросшая лесом горная цепь, именуемая Форс-д'Аргон, принудившая реку Эр течь с юга на север вдоль всей этой местности, высилась прямо перед нами, сковывая дальнейшее наше продвижение. Все говорили об Илеттах, важнейшем перевале между Верденом и Сент-Мену. Почему мы его не занимаем, почему уже не заняли его, касательно этого мы не могли столковаться. Знали мы только то, что им овладели было эмигранты, но не смогли его удержать. По слухам, на защиту перевала направились войска гарнизона сдавшего нам Лонгви. И туда же послал часть своих войск Дюмурье через немалые просторы, отделявшие их от перевала, чтобы его укрепить и заодно защитить правый фланг его же позиции близ Гранде, тем самым уготовляя новые Фермопилы для пруссаков, австрийцев и

эмигрантов.

Мы уже не скрывали друг от друга, что наши ауспиции заметно ухудшились и что армии, коей надлежало неустанно рваться вперед, теперь пришлось бы разве что спуститься вниз по Эру и попытать свое счастье с противником, укрепившимся в горных ущельях перевала. Надо было еще радоваться, что Клермон был отбит у французов гессенцами, действовавшими на подступах к Илеттам; даже если б они не овладели ими, это все же изрядно побеспокоило неофранков.

6 сентября.

Исходя из этих соображений, наш лагерь был перенесен за Верден. Ставка короля находилась в Глорье (в Славном), ставка герцога Брауншвейгского — в Регре (в Прискорбном), что давало сотни поводов для веселых каламбуров. В первую из двух резиденций меня занес досадный случай. Полк герцога Веймарского должен был дислоцироваться близ Жарден-Фонтена, неподалеку от городка того же наименования и реки Маас. Мы счастливо выбрались из города, втерлись в колонну неведомого нам полка и некоторое время следовали за ним, хотя и видели, что очень отдаляемся от места назначения. Но что поделаешь, дорога была слишком узка, чтобы выбраться из колонны, не свалившись в придорожную канаву. Мы смотрели направо и налево и, не встречая ничего похожего, спрашивали встречных, не получая ответа. Видимо, и они ничего не знали, и это их злило и удручало. Наконец, поднявшись на пологий холм, я увидел внизу, по левую руку, долину, которая в другое время года могла бы показаться даже красивой, — живописное местечко с дворцом довольно внушительного вида; к нему — о, счастье! — вел удобный проспект, мягко спускавшийся по зеленому склону. Я незамедлительно велел выбраться из вязкого месива колеи на спасительную аллею, потому что увидел, как внизу снуют офицеры и вестовые и как к разным крыльцам одна за другой подъезжают кареты, а также фургоны с провиантом, приносятся и портшезы. Как я сразу предположил, это была Глорье, резиденция короля. Но и здесь мне не могли объяснить, где находится Жарден-Фонтен. Наконец мне повстречался спасительный ангел в лице господина фон Альфенслебена, дружескими услугами которого я пользовался и прежде. Он объяснил мне, как попасть в Жарден-Фонтен: надо-де ехать долиной, проселочной дорогой, свободной от движения войск, до самого города, потом податься влево — там тебе и откроется сей Жарден.

Я так и поступил и вскоре увидел место расположения наших палаток — всё, однако, в ужасающем состоянии. Люди тонули в

бездонной грязи, петли палаток рвались одна за другой, полотно обрушивалось на головы и плечи тех, кто искал под ними спасение. Вдосталь этим насытившись, мы решили наконец перебраться в само местечко. Что касается меня и еще нескольких офицеров, то мы обрели хозяина в лице благодушного, веселого шутника, прежде служившего поваром в Германии. Он содержал свой двор и дом в образцовом порядке и принял нас радушно. В нижнем этаже его домика нашлись для нас светлые комнаты, камин и все, в чем мы нуждались.

Свита герцога Веймарского кормилась с государевой кухни. Но наш добрый хозяин упросил нас отведать блюда его приготовления. И действительно накормил нас превкусным обедом, от которого мне, однако, сделалось так худо, что и я мог бы подумать об отравлении, если б вовремя не вспомнил о чесноке, придавшем его блюдам вкус, быть может, и замечательный, но на меня всегда оказывавшем вредное действие даже в самых малых дозах. Дурнота вскоре прошла, но я по-прежнему предпочитал немецкую кухню, хоть сколько-нибудь прилично приготовленную.

Когда пришла пора проститься, наш хозяин, пребывавший в прекраснейшем настроении, всучил моему слуге обещанное письмо в Париж, к его сестре, каковую он особливо рекомендовал нам. После обмена обычными в таких случаях речами он добродушно прибавил: «Да нет, туда-то ты не дойдешь».

11 сентября.

Итак, после нескольких дней благопристойной жизни нас снова погнали в мокрядь и в холод. Путь наш вел к горной цепи, к той, что служит водоразделом Маасу и Эру и заставляет эти реки течь на север. Терпя несчетные лишения, мы добрались до Маланкура, где нас ждали пустые погреба и кухни без дров и стряпух. Мы были рады уже тому, что можем поглощать прихваченные нами закуски на сухой скамье, под прочной крышей. Устройство самих домов мне понравилось; оно свидетельствовало о скромном семейном уюте; все было просто, отвечало их потребностям и достатку. Этот мирный покой мы нарушили и продолжали нарушать. Поблизости раздался отчаянный крик о помощи. Мы поспешили туда, сами подвергаясь опасности, и на какое-то время пресекли бесчинства. Удивительным было лишь то, что нищие и раздетые грабители, из рук которых мы вырывали похищенные плащи и рубашки, нас же обвиняли в бессердечии: мы не позволяем-де им прикрыть свою наготу, заступаясь за своих же врагов.

Но нам случалось выслушивать и более странные нарекания.

Вернувшись в дом, в который нас поселили, мы застали у себя давно нам знакомого эмигранта. Мы встретили его как нельзя радушнее, и он не отказался разделить с нами наш скромный ужин. Но мы не могли не заметить, что его что-то тяготит, не дает ему облегчить свое сердце, что его гнетут какие-то заботы, которые заставляют его время от времени бормотать невнятные проклятия. Когда же мы, памятуя о нашем давнем знакомстве, постарались пробудить в нем былое доверие, он взволнованно заговорил о жестоком обращении прусского короля с французскими принцами. Удивленные, можно сказать, даже пораженные его заявлением, мы попросили его высказаться яснее. И тогда услышали, что король, выступая из Глорье, не надел плаща, невзирая на проливной дождь, ввиду чего и принцы были вынуждены отказаться от одежды, которая защитила бы их от непогоды. Наш маркиз не мог смотреть на их высочеств, столь легко одетых, промокших до нитки и насквозь пропитавшихся сыростью, стекавшей вниз по их платью. Будь это только возможно, он отдал бы свою жизнь, чтобы усадить их в сухую карету, их, с коими связаны все упования, все мечты о счастии отечества. И это их-то, привыкших сызмальства к совсем иному образу жизни!

Что мы могли ему на это ответить? Ведь его едва ли бы могло утешить, если б я сказал, что война — преддверие смерти — уравнивает всех людей, упраздняет все различия и порой грозит бедами и гибелью даже самому венценосцу.

12 сентября.

На другое утро, руководствуясь примером державного вождя, я решил оставить свой дормез и четверку лошадей, отобранных по реквизиции, на попечение надежного камерьера Вагнера, поручив ему позднее доставить экипаж и наличные деньги. Вместе с несколькими добрыми товарищами я сел на коня, и мы отправились в Ландр. На полпути мы нашли в небольшой срубленной березовой роще связки хвороста, сырого снаружи, но сухого внутри. Хворост живо одарил нас жарким пламенем и горящими углями, необходимыми для того, чтобы согреться и приготовить пищу. Лишь установленный порядок полкового обеда был несколько нарушен: столы, стулья, скамьи к назначенному часу запоздали. Ели стоя или прислонившись к дереву, кто как умел. Но цель похода была к вечеру достигнута; мы расположились лагерем невдалеке от Ландра, прямо напротив Гранпре, вполне, впрочем, сознавая, как прочно и обдуманно защищен перевал французами. Дождь шел непрестанно, дул порывистый ветер, от палаток было мало проку.

Блажен, чьей душою владеет возвышенная страсть. Цветовой феномен, открывшийся мне там, у воронки, ни на минуту не оставлял меня в покое; с тех пор все дни я обдумывал его всесторонне, чтобы продолжить свои эксперименты. Тогда же я продиктовал Фогелю (он в этом путешествии проявил себя исполнительным секретарем) конспект своих мыслей, а позднее нанес на те же самые листки и нужные чертежи. Эти бумаги, отмеченные всеми признаками непогоды, хранятся у меня и поныне. Они для меня — свидетельство неукоснительности научного труда над однажды начатым и еще сомнительным. Но путь к истине обладает еще и тем достоинством, что о нем всегда вспоминаешь с удовольствием, будь это даже твои первые, еще неуверенные шаги и уклонения в сторону или допущенные, но позднее исправленные ошибки.

Погода еще ухудшилась. Дошло до того, что провести ночь, прикорнув в полковом экипаже, можно было счесть за великое счастье. Как ужасно было наше положение, явствовало из того, что мы к тому же расположились под самым носом неприятеля и что у него могло возникнуть желание напасть на нас из своих горных и лесных надежных убежищ.

С 13 по 17 сентября.

Камерьер Вагнер вовремя прибыл со всем обозом и своим пуделем. Он пережил страшную ночь. Преодолев множество помех и затруднений, он отстал ночью от армии, потому что следовал за слугами одного генерала, сбившимися с дороги от усталости и непомерной попойки. Отряд, к которому пристал Вагнер, прибыл в какую-то деревню. Подозревали, что французы совсем близко. Пугал каждый шорох, лошади не возвращались с водопоя. Но наш Вагнер не растерялся. Вырвавшись из проклятой деревушки, он сумел воссоединиться с нашей армией со всем нашим движимым имуществом.

И тут произошло некое событие, всех нас потрясшее, ибо, как нам казалось, было тесно связано с нашими тревогами и лучшими надеждами: на правом крыле наших войск послышалась сильнейшая канонада. Ага, сказали мы себе, это генерал Клерфе прибыл из Нидерландов и атакует левый фланг французов. Все с нетерпением ждали вестей, увенчалась ли его атака успехом.

Я отправился в ставку, чтобы подробнее узнать, что значит эта канонада и чего нам следует ожидать. Точно никто ничего не знал. Думали только, что Клерфе вступил с французами в рукопашный бой. Здесь я и застал майора фон Вейраха, как раз в момент, когда он, мучаясь скукой и нетерпением, садился на лошадь, чтобы съездить к передовому охранению. Я сопровождал

его. Мы поднялись на высоту, с которой хорошо просматривалась местность. Повстречав дозор гусар, мы поговорили с их офицером, красивым молодым человеком. Стрельба происходила далеко за Гранпре, и офицер получил приказ не продвигаться вперед, чтобы не вызвать ответной акции французов. Мы поговорили недолго, как к нам подъехал принц Луи-Фердинанд со свитой и, после краткого разговора, потребовал от офицера, чтобы тот шел вперед. Офицер решительно возражал ему, но принц, оставив его слова без внимания, продолжал свой путь, а мы, хотели мы того или нет, должны были следовать за ним. Так мы проехали еще самую малость, как вдалеке показался французский егерь. Он подскакал к нам на расстояние ружейного выстрела и тут же умчался прочь. За ним — второй, третий, и все они столь же стремительно уносились. Но четвертый, надо думать, тот самый, который подъехал к нам первым, уже вполне серьезно выстрелил в нашу сторону; мы ясно слышали свист пронесшейся пули. Принц не сворачивал, а французские егеря продолжали свое дело, так что не одна пуля уже пролетела мимо нас. Я поглядывал на офицера. Он был в смятении; чувство долга боролось в нем с уважением к принцу королевской крови. Он, видимо, прочел участие на моем лице, приблизился ко мне и сказал: «Если вы пользуетесь каким-либо влиянием на принца, попросите его повернуть назад. Ведь я буду за все в ответе. Мне настрого приказали не оставлять доверенного мне поста. И это весьма разумно: мы не должны раздражать неприятеля, коль скоро он занимает столь выгодную позицию за Гранпре. Если принц не повернет назад, то вскоре вся цепь охранения начнет отстреливаться, в ставке не будут знать, что случилось, и высочайшее недовольство обрушится на мою неповинную голову». Я подъехал к принцу и сказал ему: «Мне только что оказали честь предположением, будто я пользуюсь некоторым влиянием на ваше высочество. Прошу вас благосклонно выслушать меня». После этого я ясно изложил ему суть дела, в чем даже и не было особой нужды; принц сразу понял, что к чему, и был даже так предупредителен, что немедленно повернул назад, сказав несколько любезных слов молодому офицеру. После этого перестали стрелять и французы. Офицер был мне крайне признателен и очень меня благодарил, отсюда следовало, что посредник — лицо нелишнее.

Постепенно ситуация прояснилась. Позиция Дюмурье близ Гранпре была в высшей степени прочной и выгодной. То что с правого фланга к ней нельзя было подступиться, стало ясно каждому; на левом же его фланге имелись два очень важных перевала — Лякруа-о-Буа и Лешен-Популё, тот и другой были

плотно завалены и считались непроходимыми. Но охрана второго из названных перевалов была доверена офицеру, недостойному столь важного поручения или разгильдяю. Австрийцы его атаковали. В первой атаке пал принц Линь Младший, но вторая вполне удалась, сопротивление французов было сломлено и продуманный план Дюмурье тем самым перечеркнут. Ему пришлось отступить со своих позиций и двигаться вверх по течению реки Эн. Прусские гусары преодолели перевал и начали преследовать противника уже по ту сторону Аргоннского леса. Натиск пруссаков вызвал панический ужас французов, десять тысяч человек бежало перед пятью сотнями гусар. С большим трудом удалось остановить и собрать их. При этом отличился полк Шамборана, преградивший путь нашим конникам. Последние, собственно, посланные только на разведку, вернулись с победой, радостные и похвалявшиеся тем, что взяли у неприятеля несколько телег и прочие трофеи. То, чем они могли воспользоваться тут же, на месте, деньги и одежду, они поделили между собою; а мне, как летописцу и канцеляристу, достались бумаги, среди которых я обнаружил несколько старых приказов Лафайета и целый ряд необыкновенно четко переписанных описей боевых припасов. Но более всего меня поразил довольно свежий номер «Монитера». Я сразу узнал его печать и формат, — ведь все это постоянно прочитывалось мною на протяжении нескольких лет; но на сей раз со страниц газеты обращались ко мне не слишком дружелюбно; короткая статья от третьего сентября грозила: «Les Prussiens pourront venir á Paris, mais ils n'en sortiront pas»[1].

Итак, французы считались с возможностью, что мы войдем в Париж. Предоставим же горним силам позаботиться о нашем возвращении.

Ужасное положение, когда все мы болтались между небом и землей, несколько улучшилось. Армия теперь и впрямь могла перейти в наступление. Один за другим отправлялись вперед отряды авангарда. Подошла и наша очередь; через холмы, долины, виноградники, снабжавшие нас молодым вином, мы достигли ранним утром более открытой местности. В живописной долине реки Эр мы увидели замок Гранпре, расположенный на горе, как раз в том месте, где Эр пробивает себе путь на запад сквозь теснящиеся холмы, чтобы соединиться по ту сторону хребта с рекою Эн устремляющей свои воды на запад до Уазы, а воссоединившись с нею, и до Сены. Из сказанного видно, что горный хребет, отделявший нас от Мааса, не очень высок; однако, придерживаясь изменившегося направления рек, мы вступали тем самым в другой речной бассейн.

Во время этого перехода я случайно оказался сначала среди свиты короля, а потом и герцога Брауншвейгского. Здесь я вступил в беседу с князем Ройссом и с рядом других знакомых мне дипломатов и военных. Группы всадников служили красивым стаффажем приятных ландшафтов. Хотелось бы, чтобы среди нас оказался ван дер Мейлен и увековечил нашу кампанию. Все были веселы, бодры, полны надежд и героического порыва. Правда, то здесь, то там полыхали ярым пламенем несколько деревень, однако дым не вредит картине, изображающей войну. Нам сказали, что из окон крестьянских изб стреляли по нашим солдатам, и отряды, по праву войны, немедленно мстили за себя. Такое поведение вызвало критику, но нельзя было ничего изменить. Осталось взять под свою защиту виноградники, хотя владельцам они и не сулили богатого урожая; так мы и шли вперед, меняя дружественное отношение к жителям на враждебное и наоборот.

Оставив позади Гранпре, мы переправились через Эн и расположились лагерем близ Во-ле-Мурон; и вот мы были в Шампани, в краю, пользовавшемся изрядно дурной славой. Но на первый взгляд он был не так плох. По реке, вдоль ее солнечной стороны, тянулись хорошо ухоженные виноградники. Наезды в окрестные деревни и села давали нам достаточно продуктов и фуража, только что пшеница не была вымолочена и пригодных мельниц было мало, как и печей, пригодных для выпечки хлеба, так что нам пришлось-таки испытывать муки Тантала.

18 сентября.

Для доверительных обсуждений таких и подобных вопросов у нас собиралось довольно большое общество чуть ли не на каждом привале, особенно же во время вечернего кофепития. Общество было достаточно разношерстным: тут и немцы и французы, военные и дипломаты — всё люди с весом и чем-то примечательные, разумники и острословы. Важность момента возбуждала умы, обостряла прозорливость этих мужей, но поскольку их на узкий верховный военный совет не приглашали, они тем усерднее тщились угадать, что на нем было решено и тем более — что должно будет с нами вскорости произойти.

Что же касается Дюмурье, то он, убедившись, что перевал Гранпре ему теперь не удержать, поднялся вверх по течению Эн и, зная, что его тылы прикрыты Илеттами, расположился на высотах Сент-Мену, лицом к Франции. Мы же, проникши через узкий перевал, оставили в тылу и в стороне от нас не захваченные нами крепости: Седан, Монмеди, Стене, которые могли затруднить подвоз нужных нам провиантов и боеприпасов. Мы вступили в

бедный край, известковая почва которого была способна прокормить разве что редкие, далеко отстоящие друг от друга селения.

Правда, Реймс и Шалон с их благодатными окрестностями находились недалеко отсюда, и это давало надежду, что нам вскорости все же удастся и отдохнуть, и прийти в себя. Посему наше общество порешило почти единогласно, что нужно идти на Реймс и овладеть Шалоном. Тогда Дюмурье не сможет уже спокойно оставаться на своей выгодной позиции. Сражение неизбежно, где бы оно ни произошло. Казалось, оно уже выиграно.

19 сентября.

Естественно, что нами было высказано немало сомнений, когда девятнадцатого числа был получен приказ, согласно коему нам надлежало идти на Массиж и далее следовать вверх по течению Эн, оставляя по левую руку на большем или меньшем удалении Эн и поросшее лесом нагорье.

На марше постепенно рассеялись наши мрачные мысли под воздействием разных происшествий, потребовавших от нас бодрости и усердия. Занятный феномен приковал к себе все мое внимание. Чтобы несколько колонн могли одновременно продвигаться вперед, пришлось одну из них направить прямиком через открытую местность. Ее путь пролегал по плоским холмам; когда же нужно было вновь спуститься в долину, перед нами открылся крутой спуск. Его эскарпировали, насколько было возможно, но спуск так и оставался обрывом. Тут к полудню проглянуло солнце; его лучи отражались в бессчетном множестве ружей. Я стоял на холме и смотрел, как приближается ко мне этот сверкающий поток. Когда же колонна подошла к обрыву, сомкнутые ряды внезапно рассыпались, и каждый, как мог, спускался вниз, полагаясь на собственные силы и умение. Необычное зрелище! Расстроившийся порядок точно передавал картину водопада. Множество то здесь, то там вспыхивавших на солнце штыков и создавало это впечатление. А когда внизу, у подножья горы, люди шли по дну долины, как прежде поверху, казалось, что течет перед нами могучий водный поток. Этот феномен был тем более прекрасен, потому что каждый участник марша невольно поглядывал на солнце, которое то и дело отражалось то в том, то в этом заблиставшем штыке. Только в такие сомнительные часы — между жизнью и смертью — солнечные лучи, к тому же давно не виданные, особенно радуют благородное сердце человека.

К вечеру мы достигли Массижа. От противника нас теперь

отделяло не более чем несколько переходов. Лагерь был весь перемечен, и мы точно заняли отведенное нам пространство. Гусары вбивали колья и уже привязывали к ним лошадей. Разводили огонь, разворачивали полевые кухни. Вдруг нежданно разнесся слух, что ночлега не будет: пришла весть, будто французы маршируют из Сент-Мену в Шалон; король не хотел упустить врага и потому отдал приказ к немедленному выступлению. Я пожелал удостовериться в правильности сведении, для чего отправился к штабистам. Да, весть была получена, но недостаточно проверенная и маловероятная. Но уже герцог Веймарский и генерал Гейман пустились в путь во главе своих гусар, зачинщиков всей этой кутерьмы. Спустя некоторое время генералы вернулись с сообщением, что нигде не заметили ни малейшего признака продвижения противника. Нашим патрулям пришлось сознаться, что они не видели того, о чем сообщили, а только умозаключили.

А впрочем, сигнал к выступлению был дан и никем не отменен. Приказ гласил: двигаться вперед, оставив всю поклажу, а экипажам и телегам вернуться в Мезон-Шампань и там образовать боевое каре из повозок и ждать счастливого исхода битвы.

Ни секунды не сомневаясь в том, что следует предпринять, я передал карету, поклажу и лошадей моему находчивому и усердному слуге и вместе с товарищами по походу сел на коня. Ведь всем было сказано: каждый участник похода должен держаться своего подразделения, не отставать от него и не избегать опасности, ибо все, что бы ни случилось с нами, служит нам к чести; находиться же при поклаже в обозе и опасно и непочетно. Потому-то я и договорился заранее с офицерами, что останусь с ними и скорее всего присоединюсь к лейб-эскадрону. Этим можно было только укрепить установившиеся между нами прекрасные отношения.

Маршрут был предписан такой: вверх по речушке до Турбе, а дальше — по долине, тоскливее которой ничего не сыщется на свете: ни тебе деревца, ни кустика. Было строго-настрого приказано: передвигаться бесшумно, так, как если б мы собрались напасть на неприятеля, хотя неприятель, конечно, знал уже о приближении пятидесятитысячного войска! Наступила ночь. На небе ни луны, ни звездочки. Дул пронизывающий ветер. Беззвучное продвижение такой огромной массы людей темной ночью казалось чем-то сказочно-необычным.

Проезжая верхом вдоль колонны, то и дело встречаешь знакомых тебе офицеров, скачущих взад и вперед, то ускоряя, то замедляя движение колонны. При встречах останавливались, тихо

переговаривались, делились мнениями с другими. Так постепенно составился новый кружок в десять, двенадцать человек, знакомых и незнакомых. Задавали друг другу вопросы, жаловались, бранились, критиковали. Никто не прощал высокому начальству сорванного обеда. Одному веселому малому захотелось хлеба и жареных сосисок, другому парню с неуемным аппетитом, подавай жаркое из оленины и салат с сардинами. Поскольку все это не стоило нам ни гроша, не было отказа ни в паштетах, ни в других деликатесах, ни в самых что ни на есть дорогих винах. Получился такой славный пир, что один из нас, в ком голод говорил особенно громко, предал анафеме все наше теплое общество, заявив, что возбужденная фантазия вкупе с пустым желудком причиняют ему нестерпимые муки. Общество постепенно рассеялось, но и в одиночку каждому было не легче, чем в большой компании.

19 сентября, ночью.

Так мы дошли до Сомм-Турбе, где сделали привал. Король остановился в местной гостинице, а перед нею в домике, напоминавшем беседку, герцог Брауншвейгский разместил свою штаб-квартиру и канцелярию. Площадь была велика, на ней горело немало костров, сложенных из кольев, припасенных для виноградников. Огонь полыхал в полную мощь. Его светлость господин фельдмаршал несколько раз лично изволил говорить, что нельзя давать огню разгораться так сильно. Мы обсуждали и этот вопрос: никто не поверил, чтобы наша близость осталась тайною для кого-либо из французов.

Я прибыл на место слишком поздно, и сколько бы ни шнырял глазами по сторонам в поисках пищи, все было если не съедено, то присвоено. Пока я рыскал вокруг, эмигранты дали мне благоразумный спектакль гастрономического дела. Они сидели вокруг большой плоской кучи пепла, в которой догорали последние искорки угля и обращались в золу обглоданные грозди винограда. Они быстро завладели яйцами, имевшимися в деревне, и было очень весело и аппетитно смотреть на ряды яиц, воткнутых в кучу золы. Оставалось только вынимать их по мере того, как они поспевали. Ни одного из этих благородных кухмистеров я не знал, а обращаться с просьбами к незнакомым не хотелось. Когда же мне повстречался знакомый офицер, подобно мне страдавший от голода и жажды, мне пришла на ум военная хитрость, освоенная мною на собственном солдатском опыте, какого я успел понабраться за время моей недолгой солдатчины: я заметил, что солдаты, добывая провиант в селениях и в их окрестностях, делают это довольно бестолково.

Первые, напавшие на добычу, забирают все, что могут унести, топчут, портят и изничтожают все прочее, так что опоздавшие мало чем могут поживиться. Я уже прежде подумывал, какой стратегии здесь нужно держаться. Солдатня врывается в село спереди, а ты пройдись по задворкам. Правда, эта деревня вся до отказа забита служивыми. Но она была очень протяженной, да к тому же уходила под углом в сторону от шоссе, нас сюда приведшего. Поэтому я предложил другу пройтись вниз по длинной улице до самого ее конца. Из предпоследнего дома выскочил солдат, с руганью, недовольный тем, что все съедено и невозможно раздобыть хоть какой-то пищи, Мы подошли к домику и заглянули вовнутрь: за столом тихо-мирно сидело несколько егерей. Войдя в дом, чтобы хоть спокойно посидеть под крышей, мы заговорили с егерями как с товарищами и кстати уж посетовали, что больно плохо обстоит дело со жратвой и питьем. Разговорившись, егеря взяли с нас слово, что будем молчать. Мы его дали. Тогда-то они и признались, что обнаружили здесь же, в этом доме, великолепнейший винный погреб. Обосновавшись, они сами по-хозяйски загородили погреб, но нам, в скромной доле, в живительном питье не откажут. Ключ был на месте, навал из всякой всячины перед заветной дверью живо устранили, оставалось только повернуть ключ в замке. Спустившись в погреб, мы увидели здесь множество бочек, все больше двухведерных; но что нас особенно обрадовало, так это бутылки с вином, хранившиеся в прохладном песке. Мой благодушный попутчик-офицер, успевший перепробовать вино из многих бочек, указал нам наилучшее. Зажав в каждый кулак по две бутылки, я спрятал их под плащом; так поступил и мой новоявленный приятель, и мы пошли вверх по улице, уже предвкушая бодрящую влагу.

У большого бивачного костра я приметил тяжелую борону, присел на нее и, прикрывая бутылки все тем же плащом, поставил их между зубьями. Немного погодя я извлек бутылку, и на зов увидевших ее людей вкруг костра подошел к ним и предложил распить ее по-компанейски. Каждый сделал по хорошему глотку, последний, видя, что мне осталось слишком мало, отпил самую малость. Спрятав пустую бутылку, я вскоре достал вторую, отпил от нее и предложил то же сделать и новым моим дружкам. Долго упрашивать себя они не заставили, не видя в том ничего особенного. Но когда я достал еще и третью, все громко закричали: «Да вы же колдун, волшебник!» И то сказать, в нашем безрадостном житье-бытье моя шутка всем пришлась по сердцу.

Среди всех сидящих у костра, чьи лица и фигуры отчетливо выступали из полумрака при вспышках пламени, я заметил пожилого человека, показавшегося мне знакомым. Узнав от меня,

кто я и откуда, он немало удивился тому, что мы здесь вторично свиделись. То был маркиз де Бомбель, кому я, тому назад два года, имел честь засвидетельствовать свое почтение в Венеции, где я пристал к свите нашей герцогини Амалии. Французский посланник приложил все старания, чтобы сделать наивозможно приятным пребывание нашей достойнейшей государыни в этом городе. Взаимное выражение радости по поводу нашей столь неожиданной встречи и общность давних воспоминании, казалось, должны были бы пролить луч света в наше мрачное «сегодня». Я вспомнил его роскошный дворец на Большом канале, вспомнил, как мы подплыли к нему на гондолах и с какими почестями он нас встретил и принимал в своем палаццо. Он устраивал для нас прелестные праздники, как раз во вкусе нашей государыни, любившей, чтобы природа и искусство, веселье и благопристойность непринужденно вступали в тесный союз друг с другом, тем самым доставляя как герцогине, так и нам, ее свите, утонченно-грациозные наслаждения. «Благодаря вашим широким связям, — сказал я, — мы приобщились и к таким усладам, к каковым чужеземцы обычно доступа не имеют».

Как же я был удивлен, когда в ответ на речь, которой я думал его порадовать и которую заключил искренним славословием в честь маркиза, мне пришлось от него услышать только скорбное восклицание: «Не будем говорить об этом! Те времена отошли от меня так далеко, да и тогда, когда я с веселой улыбкой общался со своими высокими гостями, червь заботы уж грыз мое сердце. Я сполна предвидел последствия того, что происходило в моем отечестве. Ваша безмятежность восхищала меня, вы не предчувствовали тех опасностей, которых, быть может, не избежать и вам. Я же незаметно готовился к предстоявшим переменам. Вскоре мне пришлось сложить свою почетную должность и расстаться с Венецией, столь любезной моему сердцу, чтобы пуститься в странствие, чреватое всякими бедами, которые и привели меня под конец вот сюда».

Таинственность, какою было обставлено наше сближение с противником, позволяла предполагать, что мы снимемся еще этой ночью. Но уже забрезжило утро и снова стал накрапывать мелкий дождик, а мы все не трогались с места. Продолжили мы свой поход, когда уже совсем рассвело. Так как полк герцога Веймарского шел в авангарде, лейб-эскадрону, возглавлявшему всю колонну, были приданы гусары, будто бы знакомые с этой местностью. Итак, мы продвигались вперед — порою крупною рысью, через поля и холмы без единого деревца или кустика. Аргоннский лес чуть виднелся в едва различимой дали. Дождь бил нам прямо в лицо, набираясь новой силы. И тут мы увидели

пересекавшую наш путь красивую тополиную аллею. То было шоссе из Шалона в Сент-Мену — дорога из Парижа в Германию. Нас послали через нее в серую даль непогоды.

Мы видели уже и прежде, что французы расположились на опушке леса и что туда же направляются новые пополнения; Келлерман, только что соединившийся с Дюмурье, примкнул к левому флангу его позиции. Наши офицеры и рядовые горели общим желанием тут же, без промедления, броситься на французов по первому мановению главнокомандующего; об этом, казалось, свидетельствовало и наше стремительное продвижение. Однако позиция, занятая Келлерманом, была почти неприступна. Тут-то и началась канонада, позднее ставшая притчею во языцех, ошеломляющую мощь которой невозможно ни описать, ни даже воскресить воображением в памяти.

Шоссе осталось далеко позади, а мы все так же неукоснительно мчались на запад, как вдруг прискакал адъютант с повелением немедля повернуть назад, — нас-де выдвинули слишком далеко. Новый приказ гласил: надо вторично пересечь шоссе, но уже в обратном направлении, так чтобы правый наш фланг непосредственно примкнул к левой стороне шоссейной дороги. Так мы и сделали, встав на пригорке лицом к хутору Ля-Люн в четверти часа ходу от шоссе. Здесь встретил нас полковой командир, только что поставивший полубатарею на безымянную высоту; нам же он приказал продвигаться вперед под прикрытием полубатареи. По пути мы опознали труп старика-шорника, распростертого на пахотном поле, — первую жертву нынешнего дня. Мы спокойно продвигались вперед, приближаясь к хутору, батарея непрерывно палила.

Но вскоре мы оказались в довольно странном положении. На нас яростно сыпались ядра, а мы никак не могли понять, откуда они берутся. Ведь нас прикрывала наша же батарея, а неприятельские пушки на противоположной гряде холмов были слишком удалены от нас. Я держался впереди, перед фронтом, чуть в стороне, и изумлялся, наблюдая за происходившим: ядра дюжинами падали на землю перед самым эскадроном, но, по счастью, не рикошетировали, а вязли в рыхлой почве. Грязь обдавала людей и лошадей; вороные кони, сдерживаемые опытными кавалеристами, храпели и тяжело дышали. Весь эскадрон, не нарушая строя и не размыкаясь, находился в непрерывном движении. Тут меня словно перенесло в совсем иные времена. В первой шеренге эскадрона знамя колыхалось в руках красивого мальчика, он держал его крепко, но вконец перепуганная лошадь мотала его из стороны в сторону. И в эту минуту миловидное лицо мальчика невольно вызвало в моей

памяти образ его еще более красивой матери, и для меня на миг превратились в явь мирные часы, некогда проведенные с нею.

Наконец поступил приказ — отступить без промедления. Все части нашей кавалерии исполнили его точно и хладнокровно. Убита была только одна лошадь из полка Лоттума, хотя мы все, особенно здесь, на крайнем правом фланге, казалось, должны были неминуемо погибнуть.

Выйдя из зоны непостижимого для нас обстрела, мы постепенно освобождались от пережитого потрясения. Загадка разрешилась: дело в том, что наша полубатарея была оттеснена противником и, спустившись с холма в ложбину по другую сторону шоссе, залегла в глубоком овраге, каких в этой местности имелось немало. Мы не заметили ее отхода и полагали, что по-прежнему находимся под ее прикрытием, тогда как ее позицию захватила артиллерия французов: что было задумано нам во спасение, чуть не привело к нашей гибели. В ответ на попреки артиллеристы только ухмылялись и в шутку нас уверяли, что-де внизу, под крышей, им было куда вольготнее.

Но потом, когда случалось видеть воочию, как, выбиваясь из сил, конная артиллерия продиралась по глинистым, вязким холмам, мы невольно спрашивали себя: какого черта мы пустились в эту сомнительную аферу?

Меж тем канонада не умолкала. Келлерман занимал сильную, отлично выбранную позицию возле мельницы близ Вальми; по ней-то и били все снаряды нашей артиллерии. Но вот взлетела на воздух телега с порохом, и все дружно радовались бедствиям, предположительно причиненным врагу этим взрывом. Все мы, стоявшие здесь, под огнем, пока что оставались только зрителями и слушателями. Путеводный знак на Шалонском шоссе указывал путь на Париж.

Итак, столица Франции была позади нас, а от отечества нас отделяло французское войско. Крепкие засовы, что и говорить! — особенно в глазах того, кто вот уже четыре недели беспрерывно возился с картами театра военных действий.

Но мгновенная потребность заявляет о своих правах громче, чем даже непосредственно за нею следующая. Гусары перехватили несколько повозок с хлебом, направлявшихся из Шалона в армию, поставив их вдоль обочины шоссе. Нам казалось невероятным, что мы занимаем позицию между Парижем и Сент-Мену, а в Шалоне никак не могли уразуметь, что немцы движутся с их стороны навстречу французам. Гусары за мелочь уступили нам хлеба, а это были самые вкусные французские булки, — как известно, француза приводит в ужас хотя бы ломтик ржаного хлеба. Я раздал не один каравай своим людям, с условием, что

они часть хлеба сохранят для меня на ближайшие дни. Совершил я здесь и другую сделку: один егерь приобрел себе у гусар теплое шерстяное одеяло, я же предложил ему, чтобы он днем держал его у себя, а на три ночи уступал его мне по восемь грошей за ночь. Ему такой договор казался выгодным; одеяло обошлось ему в гульден, а через короткий срок оно возвратится к нему со значительным прибытком. Но это устраивало и меня, ибо мои купленные в Лонгви превосходные одеяла остались в обозе, и теперь, при отсутствии всех удобств, было куда как кстати обзавестись еще и этой покрышкой, помимо плаща.

Все рассказанное совершалось под неумолчный гул канонады. Каждая из сторон израсходовала за день по десяти тысяч снарядов, причем с нашей стороны погибло всего двести человек без всякой пользы для дела. От небывалого сотрясения воздуха небо заметно прояснилось: из пушек палили с частотою беглого оружейного огня, только что не так равномерно — то чаще, то реже. В час дня, после передышки, сила огня была наибольшей, земля дрожала в прямом смысле слова, но противник не думал уступать своей позиции. Никто не знал, чем это кончится.

Я так много слышал о лихорадке боя, что мне захотелось узнать, что же это такое. От скуки и духа безрассудства, порождаемого опасностью, я без колебаний направился на хутор Ля-Люн, как раз тогда вновь перешедший в наши руки, но вид его был ужасен. Изрешеченные крыши, повсюду разбросанные мешки пшеницы и лежащие на них смертельно раненные, изредка залегавшие сюда приблудные ядра и шорох осыпающейся черепицы…

Совершенно один, предоставленный самому себе, я проехал холмами в левую сторону от деревни и отчетливо видел превосходную позицию французов — она высилась амфитеатром, которому ничто и ниоткуда не грозило. Подобраться к левому флангу Келлермана было, пожалуй, возможнее.

На моем пути мне повстречалось избранное общество — знакомые офицеры из штаба главнокомандующего, а также из нашего полка, весьма удивившиеся, увидя меня здесь. Они предложили мне к ним присоединиться, но я сказал им о своих особых намерениях, и они оставили меня наедине с моим хорошо всем знакомым взбалмошным упрямством.

Тем временем я заехал в то самое место, где падали ядра одно возле другого. Звук их любопытен: в нем что-то от жужжания детского волчка, от бульканья воды и писка птицы. Земля была вязкая, отчего ядра не представляли большой опасности. Куда они попадали, там и застревали, так что я в

своей «испытательной поездке» не подвергался по меньшей мере одной опасности — рикошетировке.

В таких-то обстоятельствах, со всем вниманием следя за собой, я вскоре заметил, что со мною творится что-то неладное, о чем могу доложить, разве лишь прибегнув к фигуральной речи. Мне чудилось, что вокруг меня невероятно жарко и что эта жара пронизывает меня насквозь, так что начинаешь как бы сливаться со средою, в какой находишься. Глаза по-прежнему видели все ясно и четко, но мир, казалось, приобрел некий коричневато-бурый оттенок, отчего предметы становились только отчетливее. Волнение крови я не ощущал, но все как бы пожирал охвативший меня жар. Отсюда явствует, в каком смысле можно называть такое состояние лихорадкой. Достойно упоминания уже то, что жуткий грохот воспринимается только слухом, ибо причина его сводится к пальбе пушек, к вою, свисту и гулу проносящихся и падающих ядер.

Вернувшись назад и очутившись в полной безопасности, я счел примечательным, что жар немедленно спал — от томившей меня лихорадки и следа не осталось. Впрочем, нельзя не признать, что такое состояние относится к числу наименее приятных: среди товарищей по походу, людей благородных и дорогих моему сердцу, я не нашел ни одного, кто выразил бы желание все это испытать вторично.

Так прошел и этот день. Французы не только не оставили своих позиций; Келлерман даже заметно их улучшил. Нам было приказано выйти из зоны огня; начальство сделало вид, будто ничего необычного не случилось. Но вся армия как-то оцепенела. Еще утром люди мечтали нанизать французов на штыки и на копья и чуть ли не сожрать их живьем. Сознаюсь, я и сам пустился в поход с безграничною верой в наше войско и в искусство герцога Брауншвейгского. А теперь все ходили как в воду опущенные, боясь встретиться взглядом с товарищем, а если и встречались, то разве только для того, чтобы крепко выругаться или проклясть все на свете. Вечером по привычке мы уселись кружком, только что костра опасливо не разожгли, как обычно. Большинство молчало, некоторые что-то говорили, но, по сути, никто не мог собраться с мыслями и дать оценку происшедшему. Наконец предложили высказаться и мне, не раз веселившему и утешавшему их подходящей краткой сентенцией или шуткой. Но на этот раз я сказал: «Здесь и отныне началась новая эпоха всемирной истории, и вы вправе говорить, что присутствовали при ее рождении».

Теперь, когда ни у кого не было и кусочка хлеба, я затребовал свою долю из купленного утром; но доля была ничтожной, да и от

вина, которое я так щедро разливал накануне, осталась всего лишь маленькая бутылочка. От роли чудодея, какую я вчера так бойко разыгрывал на привале, пришлось отказаться.

Едва стихла канонада, как дождь и буря снова зарядили, от чего пребывание под открытым небом на вязкой глиняной почве становилось еще более несносным. И все же после стольких часов, проведенных без сна, в постоянных физических и душевных страданиях, сон напомнил нам о себе, лишь только над нами сгустилась темень ночи. Мы расположились, как кто умел, за небольшим холмом, отражавшим порывы резкого ветра; но тут кого-то из нас осенила мысль, что было бы умнее закопаться в землю, прикрывшись плащами. Так мы и поступили, вырыв множество досрочных могил шанцевыми инструментами, занятыми у конных артиллеристов. Даже герцог Веймарский не презрел такого преждевременного захоронения.

Тут я потребовал положенное мне по уговору одеяло, уплатив обещанные восемь грошей, закутался в него, поверх разостлавши свой плащ, сырость коего почти не ощущалась. Улисс, надо думать, едва ли с бóльшим наслаждением и самодовольством покоился под хитоном, добытым похожим способом.

Сей обряд самозахоронения был совершен против воли нашего полковника, предупредившего нас, что на противоположном холме за кустарником стоит вражеская батарея. Стоит французам только захотеть, и они похоронят нас прочно и навечно. Но никто не хотел поступиться безветренной почивальней. Не в последний раз я убеждался, что люди ради удобств часто не страшатся явной опасности.

21 сентября.

Взаимные приветствия пробуждавшихся звучали безрадостно и лаконично, так как все мы сознавали позорную безнадежность своего положения здесь, на краю громадного амфитеатра, вершины которого так надежно защищало его подножье, с его реками, запрудами, ручьями и болотами; на этом-то почти необозримом полукруге и расположились французы. А мы стояли перед ними, сегодня как вчера, хоть и облегчившие свой вес на десять тысяч снарядов, но столь же непригодные для нанесения удара. Перед нами простиралась гигантская арена, где носились средь садов и деревенских хижин наши и французские гусары, забавы ради затевавшие подобие турниров, к вящему удовольствию праздных зрителей, готовых часами глазеть на их веселые наскоки и увертки. Но от всех этих тычков и уколов не предвиделось никаких последствий; только что один из наших гусар, слишком далеко прорвавшийся в расположение

противника, был окружен и прикончен, так как ни за что не хотел признать себя побежденным.

Единственная в этот день смерть от руки противника! Но уже нас стали настигать повальные болезни, отчего наша жизнь становилась еще безотраднее, тягостней и ужаснее.

Сколько бы вчера ни бряцали оружием, сегодня каждый почитал передышку более чем желательной; ведь даже самый смелый и мужественный воин не мог себе не сказать, поразмыслив: атаковать врага при сложившейся обстановке было бы бессмысленной авантюрой. И все же в течение дня мнения еще колебались: честь-де требует, чтобы мы удержались на тех же рубежах, как при начале канонады. К вечеру, однако, мы почти единогласно отступили от этой героической точки зрения; тем более что и главную квартиру перенесли в местечко Ан и к тому же подоспели обозы. Тут нам пришлось услышать, каких только страхов и опасностей не натерпелись наши обозники и как мы чуть не лишились всей прислуги, да и всего нашего добра.

Поросшие лесом Аргонны, от Сент-Мену до Гранпре, были вновь в руках французов. Оттуда, надо думать, и будут совершаться их партизанские налеты. Еще вчера мы узнали, что между вагенбургом и армией попали в плен секретарь герцога Брауншвейгского и ряд других лиц из его ставки. Впрочем вагенбург отнюдь не заслуживал такого громкого названия, ибо не был ни укреплен, ни защищен круговой обороной, да и расположен в неподходящем месте; к тому же и эскорт его был ничтожен. Любой шорох выводил из равновесия несчастных обозников, а близкая канонада и вовсе вгоняла их в панический ужас. К тому же пронесся слух, основанный невесть на чем, а то и вовсе вымышленный, будто французы уже спускаются с гор, задавшись целью завладеть всеми нашими повозками с их кладью. Тут-то скороход генерала Калькрейта, пойманный и вскоре вновь отпущенный французами, и набил себе немалую цену в глазах своих товарищей обозников его хвастливым рассказом о том, как он обвел вокруг пальца французского офицера, наврав ему с три короба про наше сильное охранение, про конную артиллерию и прочую небывальщину, чем будто бы предотвратил вражеское нападение на вагенбург. А впрочем, все бывает! Может, он и впрямь наврал как нельзя лучше, попав в такой переплет.

Итак, мы вновь обогатились шатрами и палатками, повозками и лошадьми, вот только пищи насущной — ни крошечки. Дождь идет с утра до ночи, а нам и воды напиться негде: брать воду из прудов опасно — они испоганены павшими лошадьми. Я и не понял сперва, с какой стати Пауль Гетце, мой выученик, слуга и

верный спутник, вычерпывает воду из складок кожаного верха моего дормеза: оказалось, что вода ему понадобилась, чтобы сварить нам шоколад, запасы которого он, к счастью, прихватил с собою в немалом количестве. Но бывало и хуже: чтобы утолить мучительную жажду, люди пили воду из копытного следа, а хлеб покупали у старых солдат: привыкшие к лишениям, они сберегали его, в надежде согреть свою душу водкой, как только представится случай.

22 сентября.

Нам сказали, что генералы Манштейн и Гейман направились в Дампьер — ставку Келлермана, куда должен был прибыть и Дюмурье. Речь будто бы шла об обмене пленными и о снабжении необходимейшим больных и раненых — но только для отвода глаз; на самом деле обе стороны надеялись добиться среди сгустившихся бедствий резкой перемены в обстановке. С десятого августа французский король находился в узилище, а в сентябре прошла новая волна смертоубийств, уже без числа и без меры. Всем было ведомо, что Дюмурье еще недавно стоял за короля и конституцию, а это принуждало его, хотя бы ради собственного спасения, выступить против нынешних властей. Вот было бы дело, если б он пошел на союз с союзниками и мы совместно двинулись на Париж!

По прибытии обоза положение герцога и его окружения явно улучшилось. Как ни воздать должного его камерьеру, повару и прочим слугам! У них никогда не переводились запасы провианта; даже в самые черные дни они ухитрялись из чего-то приготовлять горячую пищу. Только благодаря им я снова обрел способность ездить верхом и знакомиться с местностью, без должных результатов, однако. Все эти холмы слишком похожи друг на друга — ничего характерного, ни одного предмета, который бы запомнился. Чтобы хоть как-то сориентироваться, я пытался отыскать аллею, обсаженную стройными тополями, со вчерашнего дня всем нам запомнившуюся. Так ее и не обнаружив, я было подумал, что окончательно заблудился, но, присмотревшись повнимательнее, понял, что ее срубили и свезли, а там и сожгли, надо думать.

Места, подвергнувшись артиллерийскому обстрелу, являли ужасающее зрелище: повсюду неубранные тела павших воинов, тяжело раненные лошади, все не умиравшие. Я видел лошадь, запутавшуюся передними ногами в собственных внутренностях, выпавших из брюха; она, спотыкаясь, брела по выжженному лугу.

Возвращаясь к себе, я повстречался с принцем Луи-Фердинандом. Он сидел среди поля на деревянном стуле,

видимо, принесенном из разоренной деревни; к нему тащили солдаты тяжелый запертый кухонный шкаф — внутри его что-то погромыхивало. Взломали замок в чаянье доброй добычи, но в шкафу нашли лишь разбухшую поваренную книгу; и покуда весело горел разбитый в щепу кухонный шкаф, мы читали рецепты заманчивых блюд, отчего голод, поощренный силой воображения, нас чуть не довел до отчаянья.

24 сентября.

Самую дурную погоду, хуже которой нельзя и придумать, отчасти скрасило известие о заключенном перемирии; тем самым как будто появилась надежда впредь томиться и мучиться в относительном покое. Но и эта надежда заметно потускнела, поскольку вскоре выяснилось, что обе стороны сошлись лишь на том, что дозоры и караулы на время воздержутся от взаимных нападений, а в остальном военные операции могут продолжаться по благоусмотрению полководцев. Такая договоренность была на руку только французам, сохранившим за собою право сколь угодно изменять свои позиции, чтобы тем прочнее окружить нас; мы же должны были тихонько сидеть в своем котле, пребывая в прежнем неведении и нерешительности. Но дозорные и пикеты были и этому рады. Ведь все же враги пришли к согласию хотя бы касательно того, что, ежели ветер или дождь будут хлестать тебя в лицо, ты сможешь завернуться в плащ и смело обернуться к противнику спиною, не страшась, что француз тебя обидит. Более того: поскольку у французов все же водился кой-какой провиант, а у немцев не было никакого, то от них нам все-таки могут подчас перепасть малые крохи, а это как-никак похоже на доброприятельские отношения. К тому же от французов к нам стали поступать дружественные прокламации, возвещавшие немцам на двух языках о великом благе свободы и спасительном равенстве. Подражая в какой-то мере манифесту герцога Брауншвейгского, но в духе прямо ему противоположном, французы заверяли нас в своей доброй воле и гостеприимно звали наших в свою армию, хоть она теперь не только не нуждалась в новых пополнениях, а скорее была перенасыщена лишним народом. Но такие воззвания в такие минуты пишутся скорее, чтобы ослабить противника, чем для усиления собственной мощи.

24 сентября. Добавление.

Я очень жалел двух мальчиков, лет четырнадцати — пятнадцати, самой милой наружности, ставших нашими

товарищами по несчастью. Прихваченные вместе с четырьмя слабосильными лошадками, доставшимися нам по реквизиции, они прикатили сюда мой легкий шез и страдали молча — больше за лошадей, чем за себя. Как было им помочь — нам, не знавшим, как и себя-то спасти! Но поскольку они терпели все эти бедствия из-за меня, я чувствовал, что не могу их оставить без какого-либо вспомоществования, и, конечно же, хотел делиться с ними каждым купленным мною солдатским хлебом. Но они отказывались брать его. А когда я спросил, что же они едят у себя дома, мальчишки ответили: «Du bon pain, de la bonne soupe, de la bonne viande, de la bonne bière»[2]. Иными словами: у них все хорошо, а у нас все прескверно. Потому я нимало не обиделся, когда оба паренька вскоре бросили своих лошадок и бесследно исчезли. Что и говорить, они у нас всякого натерпелись; но, сдается, последней каплей, переполнившей чашу их терпения, был все же предложенный им солдатский черный хлеб, это пугало, страшащее всех французов. Белый и черный хлеб — вот истинный шиболет, отличающий французский боевой клич от немецкого.

Не могу не поделиться еще одним наблюдением. Мы вступили в край, который никак не назовешь благословенным, и к тому же — в самое неподходящее время года. И все же он прокармливает своих немногочисленных обитателей, работящих, опрятных, умеющих довольствоваться малым. Более богатые края и страны могут смотреть на него с презрением. Однако я здесь не встретил ни одной нищенской халупы, ни одного паразита. Дома построены ими из камня и крыты черепицей, а что до скудости почвы, то она простирается до Аргоннского леса и до Реймса и Шалона — в каждую сторону на расстояние от силы часов на пять, на шесть ходу. Подростки, которых мы прихватили вместе с лошадками в первой попавшейся деревушке, вспоминали всегда с удовольствием свою повседневную пищу, да и я не позабыл погреб в Сомм-Турб, а также попавший в наши руки чудесный белый хлеб, который везли из Шалона. А потому навряд ли кто поверит, что в мирное время голод и клоп для здешних мест обыденное явление.

25 сентября.

То, что французы в дни перемирия не станут предаваться безделью, можно было предвидеть, а там в этом и убедиться. Они тотчас же взялись восстановить утраченную связь с Шалоном, а также потеснить эмигрантов в тылу нашей армии, вернее, вплотную прижать их к нашему арьергарду. Но покуда для нас представляло главную опасность то, что они могли затруднять

подвоз всего потребного как со стороны гористого Аргоннского леса, так и со стороны Седана и Менмеды, а то и вовсе уничтожить возможность какого-либо снабжения.

26 сентября.

Так как многим стал известен мой повышенный интерес к всевозможным загадкам природы, мне охотно приносили все, что кому-либо казалось диковинным; среди прочего и ядро весом примерно в четыре фунта, любопытное уже тем, что вся его поверхность была усеяна пирамидальными кристалликами. Выстрелов под Вальми было произведено великое множество, и, конечно, одно ядро могло куда-то закатиться и там затеряться. Я придумывал всевозможные гипотезы касательно того, когда и каким образом металл мог обрести такое обличье — во время литья или позднее? Случай помог мне проникнуть в эту очевидную тайну. После краткой отлучки я зашел к себе в палатку, хватился ядра, но оно так и не отыскалось. Я потребовал новых поисков и добился покаянного признания: ядро, подвергнутое неумелому экспериментированию, раскололось. Тогда я велел принести мне его осколки; и что же обнаружилось, к величайшему моему удивлению? Процесс кристаллизации, идущей из центра и лучеобразно распространяющейся вплоть до поверхности. То был серный колчедан, образовавшийся, как видно, в свободной среде путем постепенного прирастания частиц. Такое открытие побудило нас искать и находить другие кусты серного колчедана, меньшего размера, в форме то шара, то почки, а то и в менее отчетливо выраженной форме; общим же у них было только то, что они не вырастали на каком-либо теле иного вещества и что всякий раз кристаллизация начиналась с точки, расположенной в некоем центре. Стороны куста колчедана не сглажены, а, напротив, всегда имеют ясно выраженное кристаллическое строение. Открытым пока оставался вопрос: зарождаются ли эти кусты серного колчедана прямо в почве и встречаются ли они также и на пахотном поле?

Не меня одного подвигнул этот край на выискивание богатых залежей его разнородных минералов. Признан был немалоценным и превосходным мел, которым изобиловала здешняя местность. Стоило солдату только копнуть, приступая к рытью ямы под котел, как он тут же натыкался на чистейший белый мел, столь необходимый ему для чистки амуниции, а также мундира. Был даже отдан приказ по армии, вменявший в обязанность каждому солдату обзавестись этим нужным и к тому же здесь даровым товаром в возможно большем количестве. Приказ этот дал повод для язвительных насмешек: надлежит-де,

невзирая на ужасающую грязь, сгибаться под тяжестью ранца, набитого средствами для поддержания образцовой чистоты и щеголеватости. Люди по хлебу вздыхают, а им предлагают довольствоваться мелом. Не в меньшей мере возмущались господа офицеры, когда их распекали в ставке верховного главнокомандующего за то, что они явились не в столь принаряженном и начищенном виде, как на парады в Берлине или Потсдаме: «Довели нас до такого состояния, так нечего шуметь и разоряться».

27 сентября.

Другая, не менее странная, мера предусмотрительности должна была, видимо, воспрепятствовать надвигающемуся голоду. Смысл предложенного мероприятия сводился к следующему: следует тщательно выколачивать наличествующие снопы овса до последнего зернышка, затем вываривать их в крутом кипятке, пока таковые не лопнут, и попытаться такою пищей заглушить чувство голода.

Что касается моего ближайшего окружения, то мы прибегли к другому выходу из положения. Увидев издали, что две фуры безнадежно застряли в грязи, и смекнув, что они везут продовольствие и прочие полезные вещи, мы охотно поспешили им на помощь. Шталмейстер фон Зеебах немедленно отрядил лошадей, фуры были сдвинуты с места, но тут же доставлены в полк нашего герцога, сколько обозники ни протестовали и ни доказывали, что содержимое предназначалось австрийцам (да так оно и было, судя по их накладным). Так или иначе, но на этом их маршрут оборвался, тем более что мы уплатили все, что они от нас потребовали.

Первыми сбежались сюда дворецкие, повара и поварята, сразу завладевшие и маслом в бочках, и окороками, да и прочей снедью. Толпа вокруг обеих фур непрерывно возрастала. Большинство требовало табаку, который уже несколько раз нами добывался по непомерной цене. Но толпа так плотно облепила фуры, что никто не мог к ним подступиться; тут наши люди воззвали к моему содействию, умоляя помочь им в добыче этого наинужнейшего из продуктов.

Я велел солдатам расчистить мне путь и, дабы не застрять в тисках осаждавших меня безумцев, взобрался на первую фуру. Уплатив немалые деньги, я набил до отказа все мои карманы вожделенным зельем и стал раздавать его, спускаясь вниз, пока не обрел свободу. Все прославляли меня как величайшего благодетеля, когда-либо нисшедшего к страждущему роду человеческому. Оказалась тут, конечно, и водка; ради обретения

одной бутылки таковой никто не скупился расстаться со звонкой монетой.

27 сентября.

Сведения об общем положении дел мы почерпали в главном штабе, куда каждый из нас наведывался время от времени, а также от тех, кто приезжал оттуда; все, что удавалось узнать, было как нельзя хуже. Вести из Парижа умножались и уточнялись, то, что еще вчера считалось лживым вымыслом, сегодня, при всей его чудовищности, оказывалось непреложной правдой. Король и его семья находились под арестом; открыто говорили о свержении венценосца; ненависть к монархии распространилась повсеместно; можно было ждать, что вскоре состоится суд над несчастным монархом. Враг, с которым мы непосредственно соприкасались, наладил связь с Шалоном, а в нем находился Лукнер, формировавший новые части из парижских добровольцев. Но эти добровольцы, прибывавшие из столицы в ужасные первые дни сентября, когда парижские мостовые уподобились кровавым потокам, были одержимы не столько решимостью сражаться в честном бою, сколько жаждой убийств и грабежей. Следуя примеру парижской голи, они избирали себе случайную жертву, лишали безвинных власти, достояния и даже жизни. Стоит выпустить этих насильников, не наведя в их рядах мало-мальского порядка, и они перережут нас всех до единого.

Эмигранты были и впрямь прижаты к нам, а предвиделись и другие беды, грозившие армии и с тыла и с флангов. По слухам, в окрестностях Реймса скопилось до двадцати тысяч крестьян — огромная вольница, вооруженная вилами, косами и кольями. Что могло помешать этой дикой ораве обрушиться на нас с неистовой силой?

Все это обсуждалось в шатре Веймарского герцога офицерами в немалых чинах. Каждый приходил сюда со своими вестями, тревогами и предположениями, и каждый вносил свой вздорный вклад в нелепицу несуразного совещания. Казалось, спасти нас может только чудо. Я же в эту минуту подумал, что все мы, попав в тягчайшее положение, любим сравнивать себя с сильными мира сего, особенно с теми, кому довелось испытать едва ли не худшие беды; и тут я почувствовал необоримую потребность рассказать присутствующим — если не для увеселения, то для необходимой разрядки — один из самых захватывающих эпизодов из жизнеописания святого Людовика. Отправляясь в крестовый поход, король решил сперва покорить египетского султана, которому тогда была подвластна Земля обетованная. Дамжотта

без всякой осады сдается христианам. Распаленный своим братом, графом Артуа, король поднимается по правому берегу Нила к его верховью — Вавилону-Кипру. Ров, наполненный водою, удается засыпать. Христолюбивое воинство проходит по нему, как по мосту; но тут оно попадает в тиски между руслом Нила и его большими и малыми каналами, тогда как сарацины занимают выгодную позицию на обоих берегах реки-кормилицы. Перешагнуть через все эти широкие потоки затруднительно. Можно, конечно, построить свои деревянные бастионы супротив неприятельских, но противник обладает одним немаловажным преимуществом — греческим огнем. Он сжигает деревянные укрепления, уничтожает бастионы и живую силу. Что пользы христианам от их превосходных боевых порядков, когда над ними глумятся сарацины; они непрерывно беспокоят крестоносцев и втягивают их в рукопашные схватки. Доблестная стойкость христиан беспримерна, но славнейшие герои и сам король окружены торжествующими нехристями. И хотя иным храбрецам и удается прорваться, но смятение среди крестоносцев все возрастает. Граф Артуа в крайней опасности, ради его спасения король идет на все. Но брат убит, беда становится неотвратимой. В этот знойный день все зависит от того, удастся ли отстоять мост, перекинутый через один из каналов, чтобы не дать сарацинам зайти в тыл главных сил христианского воинства. Немногочисленных защитников моста атакуют со всех сторон, воины осыпают их стрелами, челядинцы — камнями и грязью. И тут в час назревающей гибели граф Суассон шутливо говорит рыцарю Жуанвилю: «Сенешаль, пусть лают и скалят зубы эти собаки. Клянусь престолом всевышнего, — такова была его всегдашняя клятва, — об этом дне мы дома еще будем рассказывать своим дамам».

Все заулыбались, мой рассказ показался им добрым предзнаменованием. Мы еще поговорили о возможном исходе событий, особенно отмечая причины, в силу которых французам выгоднее щадить нас, нежели готовить нам погибель. Эта надежда отчасти оправдывалась уже тем, что по сей день перемирие никем не нарушалось, да и вообще неприятель вел себя крайне сдержанно. Я позволил себе подкрепить их надежды еще одним историческим анекдотом и в этой связи даже сослался на топографическую карту: в двух милях к западу от нас находилось знаменитое Чертово поле, до которого дошел в 452 году царь гуннов Аттила со своей чудовищной ордою, но там был разбит бургундскими князьями при поддержке римского полководца Аэция. Если б бургундские князья завершили свою победу преследованием Аттилы, то он и его народ неминуемо

погибли бы все до единого. Но римскому военачальнику было совсем не на руку, чтобы бургундцы сполна избавились от страха перед грозным противником, — ведь тогда они тут же обратили бы свое оружие против римлян. Посему Аэций потихоньку уговорил каждого из князей вернуться восвояси. Так спасся от полного разгрома царь гуннов с остатками своего неисчислимого воинства.

В этот самый миг подоспела весть, что долгожданный хлебный обоз наконец-то прибыл из Гранпре. Такое известие дважды и трижды улучшило наше настроение. Люди разошлись успокоенные, я же до самого утра читал герцогу увлекательную французскую книгу, удивительным образом попавшую в мои руки. Содержавшиеся в ней смелые, легкомысленные шуточки смешили нас, несмотря на наше отчаянное положение, я же не мог не вспомнить веселых егерей под Верденом, которые шли на смерть, горланя похабные песенки. Да, если хочешь разогнать горечь смерти, не следует слишком разбираться в средствах, тому благоприятствующих.

28 сентября.

Хлеб прибыл. Не без трудностей и не без потерь. На скверной дороге между Гранпре, где находилась пекарня, и армией несколько телег накрепко застряло в грязи и стало добычей неприятеля. К тому же часть привезенного не годилась в пищу, ибо в столь поспешно выпеченном водянистом хлебе мякиш быстро отделяется от корки и в промежутке заводится плесень. Вновь стали опасаться отравы. Мне принесли такие хлеба, где в пустотах горел яркий цвет померанца. Красный цвет указывал на мышьяк или серу, как зеленый цвет хлеба под Верденом на медянку. Но если хлеб и не был отравлен, то вид его вызывал омерзение; неудовлетворенная потребность обостряла чувство голода. Так болезни, лишения, дурное расположение духа ложились тяжким бременем на столь многих добрых людей.

В таких стесненных обстоятельствах мы были поражены и опечалены невероятным известием. Говорили, будто герцог Брауншвейгский послал Дюмурье свой злосчастный манифест, и Дюмурье, изумленный и возмущенный его содержанием, заявил о немедленном прекращении перемирия и возобновлении боевых действий. Как бы велики ни были наши беды, как ни предвидели мы еще большие в самом ближайшем будущем, мы не могли перестать шутить и смеяться. Мы говорили: «Посмотрите, какие беды влечет за собой сочинительство!» Поэты и писатели любят читать свои сочинения всем и каждому, не сообразуясь, ко времени ли это или нет. Такая судьба постигла и герцога

Брауншвейгского: видимо, радуясь тому, как ловко написан его манифест, он опять, в самую неподходящую минуту, извлек его на свет божий и пустил в оборот…

Мы ожидали вновь услышать перестрелку пикетов и разъездов, мы смотрели по сторонам, не покажется ли на холме противник, но вокруг все было тихо и спокойно, будто ничего такого с нами и не приключалось. И все же жить в томительной неизвестности и неуверенности было неизъяснимо мучительно, — ведь каждый сознавал, что мы стратегически обречены на гибель, если враг вознамерится нас потеснить или хотя бы потревожить. А между тем в этой же неизвестности таился как бы намек на то, что мы о чем-то все же договорились, достигнув более гуманного взаимопонимания. Так, к примеру, почтмейстер из Сент-Мену был обменен на тех самых господ из свиты герцога Брауншвейгского, что попали в плен двадцатого числа между вагенбургом и армией.

29 сентября.

К вечеру в соответствии с полученным приказом, обоз тронулся с места. Его должен был сопровождать полк герцога Брауншвейгского. В полночь вслед за ним выступила и армия. Все закопошилось, но нехотя и неторопливо, ибо даже железной воле как не поскользнуться на склизкой земле и не погрязнуть в вязкой жиже. Но и эти часы миновали: время и сроки не стоят на месте даже в самый ненастный день.

Настала ночь. И она пройдет без сна. Небо было довольно ясное, светила полная луна, только нечего было ей освещать. Палатки исчезли; поклажа, повозки и лошади — тоже. Наша небольшая компания оказалась в довольно странном положении. Мы находились как раз в том месте, куда должны были привести лошадей. Но они отсутствовали. И сколько мы ни озирались кругом при бледном лунном свете, все было пусто и пустынно: ни звука, ни образа! Мы качались то вверх, то вниз на зыбких волнах сомнения. Покинуть условленное место мы не решались, чтобы не сбить с толку товарищей и не разминуться с ними окончательно. Жутко оставаться во вражеской стране в полном одиночестве, жутко чувствовать себя если не вовсе покинутыми, то как бы брошенными на произвол судьбы. Мы чутко прислушивались: не обнаружит ли себя притаившийся враг. Но все было тихо — никакого знака, ни доброго, ни зловещего.

Вслед за тем мы не спеша снесли в одно место всю солому, оставшуюся от палаток, и подожгли ее — не без страха себя обнаружить. Привлеченная огнем, тут нежданно объявилась старая маркитантка: скитаясь по тылам, она, видать, не теряла

времени, вся была обвешена туго набитыми узлами. Поздоровавшись с нами и чуть обогревшись, она стала превозносить великого Фридриха и Семилетнюю войну, когда она, по ее словам, была еще девчонкой, но тем беспощаднее поносила нынешних государей и полководцев, завлекших столько народа в страну, где маркитантка не может заняться своим ремеслом, тогда как войны ради того только и ведутся. Такой забавный взгляд на мировые события развеял наши тяжкие думы. А тут, очень кстати, подоспели наши кони, и мы начали отступать совместно с Веймарским полком, полные самых мрачных предчувствий.

Меры предосторожности и строжайшие приказы командования заставляли опасаться, что враг не будет безучастно взирать на нашу ретираду. Мы со страхом наблюдали за медленным продвижением всех наших повозок и тем более нашей артиллерии, когда колеса глубоко врезались в размякшую почву. Так было днем, а что будет ночью! С огорчением смотрели мы на обозные телеги, опрокинутые на середине ручья, и с сердечным состраданием на оставляемых без всякой помощи занемогших солдат. Всякий, хоть мало-мальски знакомый со здешней местностью, ясно понимал, что стоит только врагу, — а он нас окружал и слева, и справа, и с тылу, — захотеть на нас обрушиться, и спасения нам не будет. Но поскольку в первые часы отступления ничего такого не произошло, люди с присущей им потребностью надеяться на лучшее приободрились, дух человеческий, привыкший приписывать всему на свете и разум и здравый рассудок, пришел к заключению, что переговоры между двумя ставками, Ан и Сент-Мену, кончились для нас благоприятно. Вера в благой исход переговоров росла с каждым часом. И когда я увидел на привале, как все наши повозки и экипажи выстроились в полном порядке за деревней Сен-Жан, я был уже твердо убежден, что мы вернемся домой и что нам представится случай рассказать о перенесенных нами испытаниях в хорошем обществе («devant les dames»[3]). Я поделился и этими моими надеждами с друзьями и товарищами, и мы скорее весело, чем трагически стали относиться к невзгодам сего непригожего дня.

Лагерь не разбивали, но наши раскинули большой шатер, выложив его снаружи и изнутри великолепными пшеничными снопами, — таков был наш ночлег. Луна ярко светила при полном безветрии, на небе, чуть различимые, скользили легкие облака. Все кругом было видно, почти как днем. И спящие люди, и кони, которым мешал уснуть неуталенный голод, — среди них много белых, мощно отражавших белизну лунного света, — а также

белые кожухи экипажей и белые же снопы, предназначенные для ночлега — все сообщало свет и радость этой упоительной сцене. Уверен, что даже истинно великий художник был бы счастлив точно воссоздать умиротворенность этой картины.

Лишь очень поздно я вошел под сень большого шатра в надежде забыться глубоким сном. Но природа наряду с лучшими своими дарами создает и несноснейшие. Я отношу к самым подлым преступлениям против человечности привычку человека, чем глубже он погружается в сон, тем беспощаднее не давать уснуть своему ближнему богомерзким храпом. Мы лежали голова к голове, я внутри шатра, он снаружи, испуская ужасные стоны, отбивающие всякую надежду обрести вожделенный покой. Желая взглянуть на виновника моей бессонницы, я отстегнул петлю от колышка. То был один из слуг нашего герцога, славный услужливый парень. Ярко освещенный луной, он спал крепчайшим сном, не уступавшим сну божественного Эндимиона. Невозможность заснуть рядом с таким соседом толкнула меня на коварный поступок: вооружившись пшеничным колосом, я пощекотал им лоб и нос спящего. Его глубокий сон тотчас прервался, он несколько раз провел по лицу ладонью. Но стоило ему снова заснуть, как я вновь повторял свою проделку, а он и не подумал, откуда мог взяться слепень в такое время года. Своего я, однако, добился: стряхнув с себя сон, он поднялся со своего ложа. Но и у меня пропала охота уснуть. Я вышел из шатра и залюбовался мало изменившейся дивной картиной бесконечного покоя. В такие мгновения страх и надежда, печаль и успокоение сменяют друг друга с быстротою вспышек молнии. И опять меня объял страх: стоило только подумать, что враг нападет на нас в эту самую минуту и тогда отсюда и впрямь не унесешь ни спицы от колеса, ни ноги, ни руки человеческой.

Занявшийся день вновь рассеял мои тревоги. Да и было на что посмотреть: две старухи-маркитантки, накинув на себя множество пестрых шелковых платьев, повязав ими бедра, груди, а самым верхним — шею и сверх всего набросив еще и короткую мантильку, гордо расхаживали вокруг в таком смехотворном убранстве, уверяя, что раздобыли свой маскарад путем честной купли и честного обмена.

30 сентября.

Тронулся в путь наш обоз, едва забрезжило утро, но одолели мы за день лишь весьма мизерное пространство, так как устроили первый привал уже в девять часов — между Лавалем и Варжмулетом. Люди и животные в равной мере нуждались в восстановлении своих сил, лагеря не разбивали. Подоспевшая

армия расположилась на пригорке. Всюду царили тишина и порядок, и только принятые меры предосторожности заставляли думать, что еще не все опасности остались позади. Разведку строго соблюдали, опрашивали встречных жителей и готовились в путь-дорогу.

1 октября.

Герцог Веймарский и на этот раз командовал авангардом, тем самым прикрывая с тылу отход нашего обоза. В эту ночь царили покой и порядок, и в столь благостной тишине утихали людские треволнения. И все же сняться с места было приказано в полночь, а значит, наш маршрут не считался вполне безопасным: внушали опасения разъезды противника, которым ничто не мешало спускаться с Аргоннских гор. Ведь если наше командование и пришло к соглашению с Дюмурье, — а полной уверенности не было и в этом, — то не так-то точно исполнялись тогда во французской армии приказания свыше, тем более отрядами, действовавшими в горах и лесах. Таковые вполне могли объявить себя полноправным войском и на свой страх и риск попытаться нас изничтожить, — никто не посмел бы их осудить за это.

Но и сегодняшний переход был все так же краток. Полководцы радели не только о том, чтобы обоз и армия всегда держались вместе, но также и о том, чтобы пруссаки и параллельно, по левую руку от них, отступавшие австрийцы и эмигранты никогда бы друг друга не опережали.

Первый привал был сделан уже в восемь часов утра, как только мы оставили позади Рувруа. Наспех раскинуты нами были только несколько палаток. День выдался чудесный, и никто нас не обеспокоил.

Не скрою, что в самый разгар этих невеселых дней я связал себя шутливым обетом: коль скоро мы спасемся и я вновь водворюсь в своем доме, никто от меня не услышит жалобы на то, что крыша соседнего дома частично скрывает широкий вид из моего окна, напротив, эта-то островерхая крыша и будет мне всего милее; далее: никогда я не стану жаловаться на скуку и потерю времени в немецком театре, где ты — господу хвала! — как-никак сидишь под спасительной крышей, чтобы там ни вытворяли на подмостках. Связал я себя еще и третьим обетом, но каким именно, право, не могу припомнить.

Довольно с нас и того, что каждый мог позаботиться о себе самом, что конь и карета, лошадь и конюх не отставали от своих подразделений и что, где бы ни делали мы привала или располагались лагерем, нас всегда ожидали накрытые столы, а также скамьи и стулья. Правда, харчи, что и говорить, не ахти

какие, но с этим приходилось мириться при общей недостаче съестных товаров.

Впрочем, однажды мне выпал случай присоседиться и к более богатому пиршеству. Стемнело рано, и каждый поспешал отыскать свое логово. Уснул и я, но вскоре меня разбудило поразительно явственное сновидение: мне представилось, будто я слышу запах каких-то лакомых яств и даже уже вкушаю от них. Очнувшись от сна, я чуть приподнялся: вся палатка была наполнена дивным ароматом жареного и тушеного свиного сала, и это до крайности возбуждало мой аппетит. На лоне природы человеку простительно почитать свинопаса божественным, а ядреную свинину чуть ли не царственным блюдом. Я встал и в отдалении увидел разожженный костер. На мое счастье, он горел с наветренной стороны, почему меня и достиг тот благовонный запах. Не долго думая, я прямиком пошел «на огонек». Оказалось, что вокруг костра собрались все наши слуги. Костер догорал, но спина свиной туши была уже поджарена, а остальное разрезано и приготовлено для начинки. Все усердно трудились, набивая колбасы. Неподалеку лежали толстые бревна. На них я и уселся, поприветствовав честную компанию, и стал с интересом наблюдать за их стряпнею. Ребята ко мне благоволили, да и неудобно было бы, не накормив, отпустить голодным нежданного гостя. Словом, когда дошло до дележа, мне преподнесли здоровенный кусок жаркого, да и хлебом меня не обделили и глоточком водки, словом, всем, чем положено.

К тому же мне протянули нескупо отмеренный кус колбасы, когда мы среди ночи садились на коней; я сунул его в седельную кобуру. Так благодатно сказалось на мне дыхание ночи с наветренной стороны.

2 октября.

Подкрепившись едой и питьем, я малость утихомирил свою совесть ходячими доводами морали; но в взбаламученной душе по-прежнему чередовались надежда и забота, стыд и недовольство собою. Все мы, конечно, радовались, что покуда еще оставались в живых, но тем дружнее проклинали жизнь в таких условиях. Выступив в два часа пополуночи, мы опасливо прошли мимо леса близ местечка Во, где еще так недавно стояли лагерем, и вскоре достигли реки Эн, через которую были перекинуты два моста; по ним мы и перешли на правый берег реки и там остановились на поросшей ивняком песчаной отмели между двумя мостами, отчетливо видными отсюда. Костер весело трещал, самая нежная чечевица, какую мне довелось когда-либо есть, и красноватый длинный и замечательно вкусный картофель

были скоро приготовлены, а когда нас сверх того попотчевали еще и поджаренной ветчиной, каковую добыли австрийские ездовые, но по сей день об этом помалкивали, мы и впрямь восстановили свои силы.

Обоз с его телегами и экипажами нас значительно опередил. Но тут нам вскоре открылось зрелище, столь же величавое, сколь и печальное: армия переходила через реку, пехота и артиллерия по тем двум мостам, а кавалерия вброд. У всех мрачные лица, губы, горестно сжатые, чтобы не выдать всего пережитого. Когда подходили полки, в рядах которых предполагались друзья и знакомые, мы спешили им навстречу, обнимались, заговаривали с ними. Но сколько душевной скорби в этих расспросах, сколько щемящего стыда, сколько с трудом сдерживаемых рыданий!

Однако нас отчасти утешало то, что мы, подобно маркитантам, могли потчевать великих и малых мира сего. Поначалу нам служил столом барабан сторожевой заставы, но потом солдаты понатаскали из разоренных деревень столы и стулья для себя и гостей в заботе о скромном удобстве. А гости были разные! Кронпринц и принц Луи отведали нашей чечевицы; да и не один генерал, заметив издали заманчивый дымок, приезжал к нам, надеясь подкрепиться. Но как ни значительны были наши припасы, много ли народу накормишь за один присест? Готовили во второй и в третий раз, отчего наши резервы заметно истощились.

Наш герцог делился всем, чем только мог, да и слуги его были добрыми людьми. Трудно сосчитать, сколько несчастных, сколько одиноких, больных пришельцев прикармливали его камерьер и повар.

И так каждый день! Отход наших войск предстал передо мной не как отвлеченное подобие, не как притча, а в своей непреложной реальности. Каждый новый мундир умножал и бередил сердечные раны. Финал трагедии достойно завершал ужасное целое. К мосту подъехал король со своим штабом, чуть задержался у моста, словно желая еще раз обозреть и обдумать происшедшее, и быстро проследовал тем же путем, что и его войско. У другого моста показался герцог Брауншвейгский и тоже как бы заколебался, но тут же пришпорил коня и крупной рысью выехал по мосту на правый берег.

Настала ночь, ветреная и сухая; мы провели ее на пустынной отмели, почти не сомкнув глаз.

3 октября.

Утром в шесть часов мы тронулись в путь и, перевалив через холм, направились в Гранпре, где застали нашу армию на биваках. Новые беды — новые заботы! Дворец превращен в лазарет, в нем лежало несколько сотен несчастных. Но мы не имели возможности ни помочь им, ни даже их накормить. Скрепя сердце обошли Гранпре, предоставив больных и раненых милосердию противника.

Дорогой вновь обрушился на нас свирепый ливень, сковав каждый шаг, каждый поворот колеса.

4 октября.

Сниматься с места день ото дня становилось труднее. Чтобы не погрязнуть в рытвинах дороги, мы рискнули пролагать себе путь через пахотные поля; почва здесь красноватого цвета и еще более вязкая, чем белесая меловая, — ни пройти, ни проехать. Четырем лошадкам было невмоготу везти мой легкий шез; пришлось облегчить его хотя бы на вес моей персоны. Верховые лошади опять куда-то запропастились. Но, к счастью, меня нагнала наша большая кухонная фура, влекомая шестью дюжими тяжеловозами. В нее я и забрался. Внутри лежал кой-какой провиант, а в углу притулилась насупившаяся страдалица-судомойка. Я вынул из сундука третий том «Физического лексикона» Фишера и углубился в чтение. В таких обстоятельствах, где каждый миг грозит новой задержкой, нет лучшего спутника, как такой вот словарь, где, на какой странице ты его ни откроешь, он всегда увлечет тебя полезными сведениями.

В силу вынужденных обстоятельств мы по оплошности подались на эти чуть не сплошь заболоченные пахотные поля,

отливавшие зловещим багрянцем; на топкой почве может выбиться из сил и самая мощная шестерка ломовых коней. В моей диковинной колымаге я сам себе казался пародией на фараона в Чермном море, — ведь и вокруг меня погружались конные и пешие в жидкую грязь все того же чермного, то бишь мутно-багрового, цвета. С тоскою всматриваясь в окрестные холмы, я обнаружил наконец наших верховых лошадей и среди них предназначенную мне белую лошадь. Голосом и энергичными жестами я побудил коноводов привести моего коня. Но прежде, чем сесть на него, я поручил попечению несчастной и, видимо, больной судомойки третий том моего «Фишера», внушив ей сугубо внимательное обращение с этой книгой. Выбравшись из фуры, я дал себе слово не ездить до лучших времен в экипажах. Теперь я мог двигаться хотя бы самостоятельно, но нельзя сказать, чтобы лучше или быстрее.

Гранпре, о котором все отзывались как об очаге чумы и смерти, мы оставили позади без сожаления. Несколько друзей-товарищей по походу сошлись на привале вокруг костра, каждый держа под уздцы свою лошадь. По их утверждению, то был единственный раз, когда лицо мое оставалось угрюмым и я не подбадривал их серьезным словом и не веселил забавною шуткой.

4 октября.

Маршрут, которого придерживалась теперь наша армия, вел на Бюзанси, где чуть выше Дена нам предстояла переправа через Маас. Лагерем мы расположились близ Сиври, в чьей окрестности еще не было все съедено. Солдаты с ходу набросились на первые же встретившиеся им огороды и изничтожили многое, чем могли бы еще поживиться другие. Я посоветовал повару и его помощникам впредь осуществлять фуражировку, так сказать, стратегически. Обойдя всю деревню, мы обнаружили ряд почти нетронутых огородов: капуста, лук, огурцы, а также другие овощи и всевозможные коренья имелись здесь в изобилии — год был на редкость урожайный. Мы вели себя скромно и уважительно, ничего лишнего не забирали и не губили. Огород был невелик, но ухожен. Выбрались мы из него, шагнувши через низкую ограду, — калитки не было; но не это меня удивило, а то, что я так и не обнаружил двери, соединяющей приусадебный овощник с домом хозяина. На обратном пути, отягощенные богатой кухонной добычей, мы услышали великий шум со стороны стоянки нашего полка. Как выяснилось, пропала вместе с привязью лошадь, реквизированная дней двадцать тому назад в здешних местах. Пропажу вменили в вину ездившему на ней кавалеристу, требуя под угрозой наказания, чтобы он всенепременно отыскал ее.

Так как командование решило продлить наше здешнее пребывание вплоть до пятого октября включительно, нас разместили в самом Сиври. После всех перенесенных невзгод нас радовал предвидимый домашний уют и возможность внимательно понаблюдать простонародно-французские и гомеровски-идиллические обычаи и нравы местных поселян, а заодно и их бытовой уклад. В дом французских крестьян входишь не прямо с улицы, а пройдя небольшие четырехугольные и к тому же открытые сени, так как по правую руку от входящего никакой стены не имеется. Ширина этих сеней равна поперечнику двустворчатой двери, выходящей на улицу. Только через вторую, доподлинно входную дверь попадаешь в высокую просторную комнату, где в основном протекает жизнь крестьянского семейства. Пол ее вымощен кирпичом: слева у длинной стены — вмурованный в пол очаг, а над ним — вытяжная труба, встроенная в каменную стену. Поздоровавшись с хозяином и его семьей, мы с удовольствием подсели к их тесному кругу. За стол садятся, соблюдая раз и навсегда установленный порядок. Справа у огня высокий ящичек с откидной крышкой, служащей также и сиденьем, а под крышкой — запасы соли, нуждающейся в сухом хранении. Это — почетное место, и его тотчас же предложили самому почетному гостю. Прочие гости уселись на деревянные стулья вперемешку с хозяевами. Первый раз наблюдая кулинарное искусство французских поселянок, я узнаю, что такое их pot au feu: на крюке, который можно поднимать и опускать благодаря имеющимся на нем зазубринам, подвешен большой медный котел. В нем как раз варился добрый кусок мяса, и не просто в воде с солью, а с брюквой, морковью, пореем, капустой и прочей зеленью и кореньями.

За разговорами с милыми людьми мне впервые открылось, с какою архитектонической мудростью здесь размещены и подсобный столик для стряпни, и водосток, и полки с горшками и мисками; полки прибиты к стене продолговатого закута, непосредственно граничившего с открытыми сенями. Утварь расставлена на них красиво и удобно. Все изящно прибрано рукою служанки или золовки. Хозяйка сидит у очага, а у ее колен стоит сынишка, и две дочурки льнут к нежной маменьке. Стол накрыт, на него поставлен большой глиняный горшок; прекрасный белый хлеб нарезан ровными ломтиками; их бросают в горшок и заливают горячей похлебкой. Остается только пожелать друг другу доброго аппетита. Мальчики, презревшие наш солдатский черный хлеб, здесь имели бы случай показать мне, что такое bon pain и bonne soupe. Вслед за тем было подано мясо с подоспевшей овощной приправой, — кому не придется по

вкусу эта простая, но отличная кухня?

Мы участливо расспрашивали хозяев, как им живется. Немало понатерпевшиеся от постоев в начале кампании, когда мы так долго стояли под Лондром, они после краткого облегчения теперь опасаются, что отступающий неприятель вконец разорит и погубит их. Мы утешали их, чем могли, говорили, что мы — последние, не считая арьергарда, и что конец невзгодам уже близок. И тут же давали им советы, как им поступать с отставшими вояками. А ураганный ветер и беспощадный дождь почти не прекращались. Почти весь день проводя под крышей, мы с горечью вспоминали прошедшее и не возлагали особых надежд на будущее. После Гранпре я не видел ни своего шеза, ни слуги, ни сундука. Проблески надежд и новые заботы мгновенно сменяли друг друга. Настала ночь и с нею час, когда детям полагается отходить ко сну. Дети пришли проститься с отцом и с матерью, целовали им руку и с примерной благовоспитанностью лепетали: «Bon soir, papa! Bon soir, mama!»[4] Чуть позднее мы узнали, что опасно заболел принц Брауншвейгский. Мы осведомились о его здоровье и в ответ услышали, что он чувствует себя значительно лучше и завтра непременно тронется в путь вместе с нами. Но посещения больного были признаны врачами нежелательными.

Только мы спаслись у хозяев от возобновившегося ливня, как в дом вошел человек, которого мы — по разительному сходству — тотчас признали младшим братом хозяина. Так оно, конечно, и оказалось. Он вошел в комнату, красивый и стройный, в одежде местного поселянина и с крепким посохом в руке. Сидя у огня с суровым выражением лица, он не проронил ни единого слова, недовольный, если не гневный. Чуть пообсохши, он зашагал взад-вперед со старшим братом, а потом удалился с ним в соседнюю комнату. Разговор их был оживлен, но негромок. Брат ушел из дома под проливным дождем, и никто его не удерживал.

Но и нас заставили выйти в эту бурную ночь отчаянные крики о помощи. Дело в том, что наши солдаты под предлогом поисков припрятанного фуража начали мародерствовать, и притом наиглупейшим образом: отобрали у ткача орудия его ремесла — вещи, вовсе им ненадобные. Строгостью и разумным словом нам удалось пресечь это бесчинство, тем более что большинство солдат не примкнуло к злостным грабителям. Но дурной пример заразителен, и мог начаться такой бедлам, что сразу и не управишься.

Тут подошел к нам веймарский гусар, мясник по ремеслу, и доверительно сообщил мне, что обнаружил в одном крестьянском дворе откормленную свинью, долго рядился с хозяином, но так и

не мог с ним договориться, мы-де должны его поддержать, иначе через несколько дней нам есть будет нечего. Странное дело! Только что мы пресекли грабеж, а теперь нас приглашают принять участие в сходном деянии. Но что поделаешь, голод не признает законов; мы пошли с гусаром к указанному дому, там тоже горел очаг. Вошли, поздоровались с хозяевами и подсели к ним. Тут к нам присоединился еще один гусар из веймарских, Лизёр по фамилии, ловкий малый, которому мы и поручили вести переговоры, благо он бегло говорил по-французски. Лизёр превозносил до небес добродетели регулярной армии, воздавал должное господам, приобретающим съестные припасы за наличные деньги, и, напротив, всячески хулил бродяг, обозников и маркитантов, с шумом врывающихся в дома и силком обирающих всех до последней нитки. А посему он и дает им благой совет: хорошенько обдумать его предложение; тем более что деньги легче спрятать, чем животину, а что о свинье все равно прознают эти выродки — уж будьте спокойны. Однако надо сказать, что красноречие Лизёра должного впечатления не произвело, переговоры же наши были внезапно прерваны по следующей трагикомической причине.

В дверь, прочно запертую, громко застучали. Никто не шелохнулся, впустить новых гостей ни у кого не было охоты. Но стук становился все настойчивее, и женский голос на добром немецком языке молил о помощи все жалостливей и надрывнее. Мы не выдержали и дверь приотворили. И тут же пулей влетела в комнату старая маркитантка, держа на руках нечто завернутое в тряпки; а за нею вошла молодая особа, пожалуй, даже собой недурненькая, но бледная, обессилевшая, едва державшаяся на ногах. Старуха в кратких, но избыточно смачных словах объяснила суть дела, то и дело предъявляя в их подтверждение голого младенца, каковым разрешилась молодая во время бегства. Из-за родов отстав от армии, обе они под градом насмешек грубых мужланов добрались наконец до этого жилья. У родильницы пропало молоко, у бедного ребенка от самого рождения не было во рту ни маковой росинки. Не тратя лишних слов, старуха властно потребовала муки, молока, кастрюлю, а там и холст, чтобы запеленать младенчика. По-французски она не знала, и потому мы предъявили все эти требования как бы от ее имени, властность же и порывистость старухи придавала нашим речам немало пантомимического веса: требуемое, на ее взгляд, подавали недостаточно живо, а подаваемое было не должного качества. Стоило поглядеть на то, как быстро и споро она всем распоряжалась. Бесцеремонно оттеснив нас от камина, она предоставила лучшее место родильнице, сама же широко

расселась на скамье, словно одна была жилицей этого дома; в одну минуту искупала и спеленала младенца, сварила кашу, накормила новорожденного и его мать, сама довольствуясь одними поскребками, потом потребовала одежду для молодой особы, чье промокшее платьице сохло над очагом. Мы дивились ее энергии: вот как надо производить реквизиции.

Дождь поутих, и мы поспешили вернуться восвояси, куда вскорости проследовали и оба гусара с обретенной хавроньей, — уплачено было за нее изрядно, оставалось только забить ее. Так и поступили. А поскольку в смежной комнате оказался крюк, прочно ввинченный в опорную балку, то ее освежеванная туша на нем и повисла. Предстояло только разделать ее и перейти к готовке по всем правилам поварского искусства.

Меня несколько удивило, что хозяева не выражали никакого недовольства нашим поведением, а, напротив, деятельно старались помочь нам, тогда как, казалось бы, имели все основания осудить нас за нарушение их ночного покоя. Ведь в комнате, где теперь священнодействовал мясник со своим причтом, лежали их детки в своих чистеньких постельках и, разбуженные незнакомыми голосами, тишком поглядывали из-под одеял на все, что тут происходило. Свинья висела возле большой двуспальной постели, целомудренно занавешенной зеленым саржем, каковой служил живописным фоном для более ярко освещенной туши, — ночная сцена, не имеющая себе равных. Но, повторяю, хозяева и не думали осуждать нас; скорее, можно было заметить, что они не слишком расположены к дому, откуда мы извлекли откормленную животину; пожалуй, — так казалось, — они даже злорадствовали по случаю незадачи соседа. Правда, мы благодушно заранее им обещали поделиться с ними и мясом и колбасами, что немало помогло мяснику-гусару справиться со своей задачей, — ведь времени до утренних сборов оставалось в обрез. Но наш гусар был не менее скор и расторопен по своей части, чем повстречавшаяся нам старуха-маркитантка по своей, и мы уже предвкушали свиное жаркое и отменные колбасы, которые будут нам выделены. В ожидании предстоявших благ мы улеглись в хозяйской кузне и проспали до утренних сумерек на мягких пшеничных снопах. Тем временем гусар закончил свою работу, завтрак был приготовлен, а остальное увязано с выделом хозяевам обещанной доли; последнее — к вящему недовольству гусар. «С этим народом нечего миндальничать, — сказали они. — У них наверняка припрятано и мясо, и другие припасы, только мы плохо их искали».

Осмотревшись в одной из комнат позади той, где находился

очаг, я обнаружил накрепко запертую дверь, которая, судя по ее местоположению в доме, должна была вести в огород. Взглянувши в маленькое оконце рядом с дверью, я убедился, что не ошибся: огород, расположенный на пригорке, был тот самый, в котором мы обогатились овощами и зеленью. Дверь снаружи была забита досками и так умело замаскирована, что ее и впрямь было нелегко обнаружить со двора. Но так уж, видно, было предрешено небесами, что мы, несмотря на всю осмотрительность хозяев, все-таки очутились в их доме.

6 октября, утром.

В такой обстановке не жди ни минуты покоя и не будь уверен, что за час твоего отсутствия ничего не изменится. Едва рассвело, все в местечке пришло в волнение: всплыла вчерашняя история с пропавшей лошадью. Кавалерист, который должен был либо разыскать свою лошадь, либо же, подвергнувшись наказанию, впредь идти пешком за своей частью, носился в отчаянии и страхе по окрестным деревням, где его, лишь бы самим избавиться от напасти, уверяли, что лошадь наверняка припрятана где-нибудь в Сиври, где столько-то дней тому назад и впрямь реквизировали вороного коня, такого, как он описывал. Оказавшись снова в Сиври, он, конечно же, убежал к себе в стойло; это звучало вполне правдоподобно. Сюда, в Сиври, кавалерист и направился в сопровождении унтер-офицера, человека сурового, но готового выручить своего солдата. Угрожая расправой всему местечку, он добился-таки разгадки приключившегося: конь и вправду бежал в Сиври, к прежнему своему хозяину. Радость встречи хозяина и всей семьи со старым их помощником и почти домочадцем была поистине неописуема. Вместе с хозяевами торжествовали и соседи. Коня хитроумно подняли на чердак и завалили сеном. Никто об этом не проболтался. И вот теперь, под стоны и вопли свидетелей, его извлекли из надежного укрытия. Печаль овладела всей общиной, когда всадник, вскочив в седло, поскакал вслед за вахмистром. В этот миг никто не помнил о собственных горестях и о судьбах Франции, по-прежнему безотрадных. Сбежавшуюся толпу только и волновала участь коня и бывшего его владельца, вторично обреченного на горькую разлуку. Все сочувствовали ему и его питомцу.

Но вот вспыхнула нежданная надежда. Подъехал кронпринц Прусский и спросил, что означает это скопище народа. Владельцы лошади, всей семьей, молили прусского престолонаследника вернуть им общего любимца. Но что он мог поделать? Законы войны могущественнее королей. Кронпринц уехал, оставив просителей в безутешном горе.

Дома мы еще и еще раз обсуждали с хозяевами, как следует поступать с одинокими отставшими солдатами, — мародерство принимало все большие размеры. Совет мой был таков: кто бы ни открывал двери, будь то хозяин или хозяйка, подмастерье или служанка, нужно стоять в сенях и разве что вынести солдатам кусок хлеба или рюмку с глотком вина, но решительно пресекать даже попытки проникнуть внутрь. Бродяги в солдатских шинелях не станут брать приступом крестьянский двор, но справиться с вторгшимся мародером не так-то просто. Добрые люди дружно просили нас подольше постоять у них. Но полк герцога Веймарского уже ушел вперед, а с ним и кронпринц, — достаточная причина и нам сняться с места.

В благоразумности такого решения мы вскоре убедились, приставши к нашей колонне. Тут мы узнали, что как только авангард французских принцев миновал пресловутый перевал Лишен-Популье и реку Эн, эмигранты подверглись нападению вооруженных крестьян между Большими и Малыми Армуазами. Лошадь под одним офицером-эмигрантом была убита, а другая пуля пробила шляпу одного из слуг полкового командира. Тут я вспомнил, что прошедшею ночью, когда вошел в наше пристанище младший брат хозяина, суровый и озлобленный малый, во мне шевельнулось предчувствие таких нежелательных сюрпризов.

Того же 6 октября.

Из самых опасных тисков мы, так или иначе, вырвались, но наш отход и теперь оставался тягостным и чреватым всякими бедами. Особенно обременял нас не в меру разросшийся обоз. И то сказать, мы везли с собой, помимо кухонной утвари, еще полную меблировку — столы, стулья, скамьи, сундуки, ящички и даже несколько жестяных печей. А между тем с каждым днем лошадей становилось все меньше; одни пали, другие вконец обессилели. Ничего не оставалось, как бросать одну телегу, чтобы сохранить остальные. Широко обсуждалось — что изо всего нам наименее необходимо? Выбор пал на телегу, доверху груженную всякой всячиной, лишь бы не жертвовать полезнейшим. Это мероприятие повторялось не однажды, и наш обоз заметно поубавился. Но, с величайшим трудом продвигаясь по низким, заболоченным берегам Мааса, мы вновь и вновь подвергали наш обоз подобным редукциям.

Что меня тогда особенно удручало и угнетало, так это то, что я уже несколько дней не видел своей кареты. Оставалось предположить, что мой слуга, обычно такой находчивый, утратив старых лошадей, не мог раздобыть им замену. Горестное

воображение уже убеждало меня, что легкая карета, немало носившая меня по свету, бесценный подарок государя, увязла в грязи и валяется где-нибудь на обочине и я на своем коне и впрямь «все свое несу с собою». Чемодан с платьем, со всеми рукописями и прочими дорогими в силу привычки вещами казались мне уж навечно утраченными, рассеянными по белу свету.

Что сталось с деньгами и важными документами в моем бумажнике, а также с разными сувенирами, которые берешь с собой, разлучаясь с родными и близкими? Все эти утраты я представил себе с поразительной отчетливостью и в мельчайших подробностях; но уже мой дух поспешил извлечь меня из этой бездны воображаемых бедствий. Доверие к моему слуге пересилило все мои сомнения. Все, что я считал навек утраченным, вообразилось мне сохраненным благодаря его заботливому попечению, и я радовался вновь обретенному, точно видел его уже своими глазами.

7 октября.

Мы с трудом продвигались левым берегом Мааса, вверх по его течению, навстречу месту, где должна была состояться наша переправа и откуда рукой подать до мощеной дороги. Но только мы дошли до заливного луга, от дождей вконец заболоченного, как возвестили, что нас нагоняет герцог Брауншвейгский. Мы остановились, чтобы почтительнейше его поприветствовать. Остановился и он на близком от нас расстоянии и сказал мне: «Я, конечно, весьма огорчен, что вижу вас в столь неавантажном положении, но, смею признаться, все же радуюсь этому в том смысле, что вы, как человек разумный и пользующийся общим доверием, сможете засвидетельствовать, что мы побеждены не врагом, а стихией».

Герцог и раньше видел меня не раз, и, в частности, в Ане, в своей ставке, и, конечно, знал о моем участии в этом несчастном походе. Я в ответ сказал ему несколько подобающих слов, в заключение которых высказал искреннее сожаление, что ему, после стольких трудов и огорчений, пришлось еще пережить тревожные заботы в связи с заболеванием его августейшего сына; мы все глубоко сострадали ему прошлой ночью в Сиври. Герцог выслушал меня благосклонно, ведь этот принц был его любимцем, — и тут же представил нам его, державшегося поблизости от своего родителя. Мы поприветствовали и принца. Герцог всем нам пожелал терпения и стойкости, я же ему — наилучшего здоровья, ибо ни в чем другом он не нуждался, чтобы спасти нас и отстоять правое дело. Сказать по правде, он всегда

меня недолюбливал, с чем приходилось мириться, и не раз давал мне это почувствовать, что я прощал ему охотно. Но беда, кроткая посредница, нас свела и заставила друг к другу проникнуться взаимным участием.

7 и 8 октября.

Переправившись через Маас, мы двинулись дорогой, ведущей из Нидерландов на Верден. Непогода — ужаснее, чем когда-либо. Мы стали лагерем близ Консанвуа. Неустройства, вернее же тяжкие беды, достигли высшей точки, — палатки насквозь промокли, нет крыши над головой, не знаешь, как спастись и за что взяться. Кареты моей все нет и нет, как нет и необходимейших вещей. Сносную палатку можно, пожалуй, отыскать, но разве в ней отдохнешь! Как не мечтать тут о сене и голых досках! Оставалось одно — лечь на сырую, холодную землю.

Но у меня на все такие случаи имеется прекрасное средство: я не ложусь и не сажусь, пока меня держат ноги, а когда уже невмоготу стоять, то сажусь в раскидное кресло и сижу, пока сидится, когда же нет сил ни стоять, ни сидеть, то кажется пригодным уже любое место, на котором можешь вытянуть ноги. Голод — лучшая приправа, усталость — лучшее снотворное.

Так провели мы два дня и две ночи. На третий день тяжелое состояние двух больных сослужило добрую службу здоровому. Один из них был камердинер герцога, другой — юный корнет из нашего полка, которого наш государь вывез из Гранпре, где он лежал в военном госпитале. Их обоих герцог решил отправить в Верден, в двух милях от нас находящийся, под присмотром камерьера Вагнера; четвертым местом по заботливому совету всемилостивейшего государя должен был воспользоваться я. В дорогу нам было дано рекомендательное письмо коменданту крепости, а поскольку и пудель не хотел от нас отставать, то предоставленный нам дормез являл собою то ли полулазарет, то ли отчасти даже зверинец.

Форейтором, квартирмейстером и интендантом состоял при нас уже известный читателю гусар Лизёр. Уроженец Люксембурга, он хорошо знал этот край и с этим преимуществом сочетал еще и немалую сметливость, ловкость и дерзость браконьера. Гарцуя перед нами на статном коне, он придавал внушительный вид как себе самому, так и нашей карете, запряженной в шестерку статных белоснежных лошадей.

Сидя рядом с двумя заразными больными, я и не думал об опасности заболеть. Человек, верный самому себе, в любом положении руководствуется спасительной максимой. Что

касается моей персоны, то меня всегда выручал в минуту большой опасности мой слепой фатализм, да я и вообще замечал, что люди, вся жизнь которых проходит в непрерывных опасностях, почерпают стойкость и мужество в этой вере. Тому лучшим доказательством служит религия магометан.

9 октября.

Наша печальная лазаретная карета продвигалась медленно и давала повод предаваться грустным раздумьям. Ведь мы снова ехали тем самым шоссе, по которому вступали в пределы этой страны, исполненные радужных надежд и душевной бодрости. Вот он, тот самый виноградник, где раздался первый одинокий выстрел; вот и ведущая в гору дорога, на которой нам повстречалась и была отправлена нами домой юная красотка, вот и та низенькая каменная ограда, стоя на которой среди своих родных, она дружески приветствовала нас, вновь обретшая веру в лучшее будущее, веру в человека. Как совсем по-другому все это выглядит теперь! Вдвойне безрадостными казались нам последствия бесплодного похода под немолчный дождь и завыванье бури.

И что же? Как раз здесь, в час величайшего уныния и печали, мне выпало счастье, лучше которого и не придумаешь. Мы нагнали коляску, запряженную четверкой невзрачных лошаденок. Тут-то и разыгралась сцена радостного узнавания. Бог ты мой! это была моя карета с моим верным слугой и помощником. «Пауль! — вскричал я. — Ты ли это, чертенок? Откуда ты взялся?» И — о, какая радость! — мой сундук стоит преспокойно на привычном месте! Когда же я стал торопливо расспрашивать о портфеле и других вещах, из кареты выскочили один за другим два моих друга — тайный советник Вейланд и капитан Вент. Вторая радостная сцена: «Друзья, вновь обретшие друг друга». Только теперь я узнаю, как все это произошло.

После побега тех двух французских парнишек мой Пауль стал один управляться с четверкою лошадей, сам узнал наш маршрут, сам добрался не только от Ана до Гранпре, но и от перекрестка, где мы друг друга потеряли из виду, до Эн, а там и до места нашей счастливой встречи: в пути он беспрестанно чего-то требовал, на чем-то настаивал, добывал провизию и фураж, менял старых коняг на реквизированных. И вот мы снова воссоединились, снова неразлучны и едем в Верден, где, быть может, обретем краткий покой и отдохновение. Обо всем этом позаботился наш гусар заблаговременно и наилучшим образом. Он и теперь, опередив нас, поскакал в город, в царящий там хаос и столпотворение, быстро убедился, что положенным образом там

ничего не добьешься, что на добрую волю и расторопность квартирьеров полагаться никак нельзя. Но, к счастью, он заметил, что во дворе одного респектабельного дома готовятся к отъезду, и помчался что было духу нам навстречу, объяснил, как добраться до предназначенного для нас убежища, и снова умчался в город, чтобы тотчас по выезде жильцов захватить двор и дом и не дать закрыть ворота. Мы въехали во двор и вышли из кареты под шумные протесты старухи-экономки, которая только что избыла квартирантов и отнюдь не хотела принимать новых жильцов, тем более без билета, выданного комендатурой. Однако лошадей распрягли и отвели на конюшню, мы же поделили между собой комнаты в верхнем этаже; хозяин дома, пожилой дворянин и кавалер ордена св. Людовика, не препятствовал нашему вселению, хотя ни он, ни его семья не желали и слышать о новых постояльцах, тем более отступавших пруссаках.

10 октября.

Подросток, водивший нас по улицам пришедшего в запустение города, спросил, случалось ли нам когда-нибудь отведать несравненных верденских пирожков, и, не получив утвердительного ответа, тут же повел нас к знаменитейшему мастеру по этой части. Мы вошли в просторное помещение, по стенам которого стояли большие и малые жестяные печки, а в центре комнаты — столы и скамьи для немедленного поглощения здешних изделий. Великий пекарь вышел нам навстречу, но лишь для того, чтобы бурно изъявить свое отчаяние: он-де не может услужить нам за отсутствием масла. Засим он продемонстрировал нам свои запасы пшеничной муки тончайшего помола, — «Но что мука без молока и масла!» — похвалялся он своим талантом, одобренным местными жителями, а также восторгами путешественников, и все продолжал горько сетовать, что как раз теперь, когда он мог бы показать свое искусство таким знатокам, как мы, и тем самым приумножить свою славу, ему недостает необходимейшего. Он заклинал нас раздобыть масло где угодно и намекнул на то, что стоит только приложить усилия, и масло отыщется. Успокоился он, лишь когда мы ему пообещали привезти масло из Жарден-Фонтена, если поживем здесь подольше.

Оказалось, что наш юный проводник разбирается не только в слоеных пирожках, но не менее тонко и в красивых личиках. Мы как раз проходили мимо фешенебельного особняка, из окна которого выглянула на редкость хорошенькая головка. На вопрос, кто она такая, он назвал ее родовое имя и добавил: «Да, этой головке надо теперь покрепче держаться на плечах. Ведь и она из

тех, кто подносил цветы и фрукты прусскому королю. Ее семейство, верно, думало, что все будет по-старому. Но — увы! — страница истории снова перевернулась, и я теперь не хотел бы поменяться с нею местами». Все это он произнес равнодушнейшим голосом, как будто иначе и быть не могло, да никогда и не будет по-другому.

Мой слуга вернулся из Жарден-Фонтена, где он навестил нашего бывшего хозяина, чтобы вернуть ему письмо, предназначавшееся его сестре-парижанке. Веселый насмешник встретил Пауля с обычным добродушием, угостил его как нельзя лучше и попросил передать приглашение также и его господину, которого обещал накормить на славу.

Увы! Тому не суждено было статься. Едва мы повесили котел над огнем, совершив все положенные церемонии и снабдив его необходимыми ингредиентами, как явился ординарец, любезно возвестив нам от имени коменданта, господина де Курбьера, что мы должны готовиться к отъезду из Вердена завтра в восемь часов утра. Это нас огорчило до крайности. Подумать только! Нам, еще не успевшим отдохнуть, разлучиться с нашим уютным кровом и спасительным очагом, чтобы вновь погрузиться в грязь и мокрядь окружавшей нас пустыни! Мы было заикнулись о болезни юного корнета и герцогского камердинера, но в ответ услышали, что нам надо как можно скорее выезжать из города, так как этой же ночью будут вывезены все больные и раненые за исключением вовсе не способных перенести такое испытание. Нас объял страх и ужас. Ведь никто из моих соратников не ставил под сомнение, что союзная армия сохранит за собой Верден и Лонгви, а быть может, захватит и ряд других крепостей, чтобы встать на зимние квартиры в хорошо укрепленных городах. Сразу расстаться с этой надеждой было слишком горько, почему мы и склонялись к предположению, что комендант хочет прежде всего освободиться от великого множества больных и раненых и от чудовищно разросшегося обоза, с тем чтобы потом разместить в Вердене не столь многочисленный гарнизон. Но камерьер Вагнер, вручивший коменданту письмо нашего герцога, усматривал в мероприятиях, проводимых комендатурой, нечто куда более серьезное. Чем бы, однако, все это ни обернулось в конечном счете, пока что приходилось подчиниться неизбежному; а посему мы спокойно взялись за опустошение горшка, ухитрившись изготовить из его содержимого несколько блюд под разными соусами и гарнирами, как вдруг объявился второй ординарец с приказанием незамедлительно выехать из Вердена в три часа утра, раньше, чем даже развиднеется. Камерьер Вагнер, видимо, хорошо знакомый с

письмом нашего государя, в этом увидел верный симптом передачи крепости французам. Здесь мы невольно вспомнили о красивых нарядных девушках, преподносивших цветы и фрукты прусскому королю, и о грозном пророчестве сурового подростка. В первый раз за всю кампанию мы сполна отдали себе отчет, к каким прискорбным последствиям привело предпринятое нами злосчастное вторжение во Францию.

Хотя я и обрел немало хороших друзей, достойных всяческого уважения, среди господ, принадлежавших к дипломатическому корпусу, я часто не мог воздерживаться от злых эпиграмм, наблюдая за ними на фоне великих событий. Они напоминают мне иных директоров театра, которые, выбрав подходящую пьесу и распределив роли, скромно уходят в сторонку, предоставив отлично выряженной труппе осуществить спектакль в меру своих сил и способностей, полагаясь на счастье и на милость взбалмошной публики.

Барон Бретёй никогда не выходил у меня из головы после пресловутого «дела об ожерелье». Слепая ненависть к кардиналу Рогану подвигла его на неразумную поспешность. Вызванное судебным процессом всеобщее потрясение умов расшатало устои государства, уничтожило уважение к королеве и к высшей знати; все, что всплыло тогда на поверхность, как ни горестно это признать, слишком ярко свидетельствовало о полном упадке и разложении, охватившем двор и первенствующее сословие королевства.

И вот теперь стало почти достоверно известно, что не кто другой, как он, принял участие в составлении условий перемирия, в силу которого мы обязались покинуть пределы Франции. Если что отчасти оправдывало нашу ретираду, то именно те существенные уступки, которые были приняты противной стороной. Нам было обещано освобождение короля, королевы и всей королевской семьи, а также удовлетворение ряда других наших пожеланий. Мы тревожно спрашивали себя, как согласуются эти дипломатические заверения с прямо противоположными им фактами, сведения о которых до нас доходили; одно сомнение порождало другие.

Комнаты, нами занятые, были обставлены изящной мебелью. Особенно привлек мое внимание стенной шкаф, за застекленными дверцами которого я обнаружил множество сброшюрованных тетрадок, одинаково обрезанных в четвертую долю листа. Заглянув в них, я с изумлением установил, что домовладелец был одним из нотаблей, созванных в 1787 году; брошюры заключали в себе печатный текст инструкции, которой должны были руководствоваться нотабли. Умеренность

требований, сдержанный тон их изложения резко контрастировали с воцарившимся агрессивным языком нынешних прокламаций, призывающих к дерзкому и беспощадному насилию. Я читал эти документы не без растроганности и взял с собою несколько экземпляров на память о прекрасном начале назревавших великих событий.

11 октября.

Мы не спали всю ночь и ровно в три были готовы усесться в нашу карету, уже запряженную и стоявшую перед распахнутыми воротами, как вдруг столкнулись с новым препятствием: лазаретные повозки с ранеными двигались потоком по заболоченным, вконец разъезженным улицам города, по краям которых были по-прежнему сложены булыжники разобранной мостовой. Мы стояли в ожидании возможности включиться в сплошную колонну повозок. Тут протиснулся к воротам и наш хозяин, кавалер ордена св. Людовика, хмурый, ни с кем не здоровающийся. С чего это он поднялся в такую рань? Но вскоре наше недоумение сменилось чувством жалости: с ним вместе вышел из дома и его слуга с небольшим узелком на палочке; стало слишком ясно, что он, всего лишь с месяц пробыв в своей городской усадьбе, должен снова ее покинуть, наравне с нами, бывшими завоевателями Вердена.

Привлекло мое внимание еще и то, что в нашу карету были впряжены лошади, несравненно лучше прежних, обессиленных и ни на что уже не годных. Их выменяли на кофе и сахар, а новых, более резвых, реквизировали. Здесь чувствовалась рука ловкого Лизёра. Если мы все же тронулись с места, то только благодаря его расторопности. Вскочив в случайный разрыв монолитной колонны, он так долго отчитывал замешкавшегося ездового, пока мы не заполнили образовавшийся пробел нашей шестерней и откуда-то им раздобытым вторым экипажем, запряженным четырьмя лошадьми.

Ехали мы со скоростью похоронного кортежа, но все же ехали. Занялся день, хуже которого и вообразить невозможно, когда мы наконец добрались до города. Телеги и кареты, немногие всадники и бесчисленные пешеходы, — все колонны стекались к большой площади за городскими воротами. Только наша колонна подалась вправо, в сторону Этена, продвигаясь узкой дорогой, по обочинам которой тянулись канавы. Чувство самосохранения в такой толчее не знает ни жалости, ни сострадания к ближним; недалеко от нас пала одна из четырех лошадей, впряженных в перегруженную фуру; упряжь перерезали, лошадь отбросили в сторону. Три оставшиеся лошади не могли

сдвинуть фуру с места; тогда скинули в канаву и ее со всей поклажей, и тут же двинулись дальше, переехав заодно и лошадь, только собравшуюся приподняться; было слышно, как хрустнули ее кости под колесами, и видно, как вздрогнуло ее тело.

Всадники и пешеходы, устрашенные узостью труднопроходимой дороги, искали спасения на лугах, но и луга были сплошь разрыхлены непрерывным дождем и залиты водой из переполненных рвов и канав; тропинки то и дело прерывались. Четверо бравых, красивых, хорошо одетых французских солдат долго топали по грязи рядом с нашими каретами, их мундиры были аккуратны и чисты, и они ухитрялись ступать так, что их обувь загрязнялась только по щиколотку, — лишь это одно и свидетельствовало о том, по какой дороге им пришлось пробираться.

Никого не могло удивить, что при таких обстоятельствах мы то и дело натыкались на павших лошадей, валявшихся по канавам, на лугах, полях и межах. Вскоре начали попадаться и освежеванные лошадиные трупы, у которых были вырезаны мясистые части, — печальный признак повсеместного голода!

Так вот и двигались мы вперед, поминутно подвергаясь опасности быть сброшенными в канаву, стоило только замешкаться. В этих условиях невозможно было нахвалиться заботливостью нашего гусара. Столь же бесценным человеком он проявил себя и в Этене, куда мы прибыли в полдень. И в этом прекрасном, некогда благоустроенном городке царил несусветный хаос; на улицах и площадях кишели толпы народа; все куда-то спешили и друг другу мешали. Совершенно неожиданно наш проводник остановил наши две кареты перед опрятным, респектабельным домом на рыночной площади; мы вошли в него, хозяин с женою приветствовали нас, держась на почтительном от нас расстоянии.

Нам отвели ряд комнат в нижнем этаже. Одна из них была обшита деревянными панелями, с камином из черного мрамора, в котором весело пылал огонь. Нехотя мы заглядывали в большое зеркало над камином. Я тогда еще не решался стричься коротко, и мои длинные волосы свисали вниз спутанными лохмами. Бороды, колючие, нестриженые, придавали нам еще более дикий вид.

Теперь мы видели из низеньких окон дома всю простиравшуюся перед нами площадь с царившей на ней суетливою бестолочью, и притом на столь близком от нас расстоянии, что казалось нетрудным до всего дотронуться рукою. Пешеходы, солдаты во всевозможных мундирах, инвалиды, здоровые, но озабоченные буржуа, их жены и дети — все это

снует на площади, толкается, галдит и визжит, с трудом продираясь между телегами и каретами, подводами, фурами всевозможных образцов, одноконными и запряженными цугом, лошади свои и чужие, отнятые у других. Никто не уступает другому дорогу, прут друг на друга, мешают слева, цепляются справа. Куда-то гонят рогатый скот, — должно быть, отбитое или где-то захваченное стадо. Всадников почти не видно, зато бросаются в глаза изящные кареты эмигрантов, раскрашенные, лакированные, посеребренные, позолоченные — уж не те ли, которыми я любовался еще в Гревенмахерне. Но истинное бедствие наступило, когда заполнявшее площадь скопище народа устремилось в улицу, прямую, застроенную нарядными домами, но несоразмерно узкую. Ничего подобного мне в жизни не приходилось видеть. Сравнить это можно было разве с рекой, залившей луга и поля и вдруг принужденной пройти под узкими арками моста и впредь уже не выступать из тесного русла.

Вниз по длинной улице, видной из наших окон, беспрерывно тек этот грозный поток, над которым возвышалась двухместная карета. Я невольно вспомнил наших прелестных француженок, но то были не они, а граф Гаугвиц, который, покачиваясь, медленно, шаг за шагом, продвигался вперед, к моему немалому злорадству.

11 октября — дополнение.

Нас угостили прекрасным обедом, особенно утешившим нас великолепным бараньим огузком; не было недостатка и в добром вине и превосходном хлебе. Так наслаждались мы миром и покоем рядом с неистовым столпотворением, подобно человеку, сидящему на каменной плотине возле маяка, в то время как море бушует, вздымаются волны и судна борются в буйной схватке с враждебной стихией. Но и в этом гостеприимном доме при нас разыгралась душераздирающая семейная сцена.

Хозяйский сын, красивый юноша, увлеченный новыми веяниями века, вступил в Париже в ряды Национальной гвардии и уже успел отлично зарекомендовать себя. Но когда вторглись во Францию пруссаки, а вместе с ними и эмигранты, гордо уповавшие на скорую победу, любящие родители решительно потребовали, чтобы он, их блудный сын, немедленно оставил свою презренную службу, возвратился на родину и впредь сражался бы за «доброе дело» в рядах союзной армии. И вот он, вразрез со своими убеждениями, возвращается домой, когда пруссаки, австрийцы и эмигранты уже обратились вспять, потерпев неудачу. В отчаянии, пробиваясь сквозь густую толпу, он входит в родительский дом. Как быть, что делать? Как встретят его родные? Полное смятение! Удастся ли старикам отстоять в

это грозное время свой дом, свое имение? Сын, подпавший по младости лет под обаяние грандиозного размаха политических событий, уже готов смириться, перейти в угоду родителям на сторону сил, ему ненавистных, как вдруг узнает о полном крушении оккупантов. А между тем его бегство из Парижа привело, как стало ему известно, к внесению его имени в список осужденных и обреченных. Отныне он — изгнанник: отечество утрачено, отчий дом для него закрыт. Сами родители, так нежно его обнимающие, торопят его с отъездом, а он в горестный час свидания не в силах от них оторваться. Объятия таят в себе невысказанные упреки, расставание, невольно нами подслушанное, — ужасно.

Все это происходило в прихожей за нашей дверью. Но только смолкли голоса и в слезах удалились родители, как разыгралась новая сцена, обратившая нас в прямых ее участников, — не менее шумная и душещипательная, хотя под конец и заставившая нас улыбнуться. Велико было наше смущение, когда кучка крестьян — мужчин, женщин и малых детей, семья арендатора большого имения, как выяснилось позднее, ворвалась в наши комнаты и с воплями и плачем бросилась к моим ногам. С красноречием, порожденным неподдельной душевной болью и скорбью, они мне говорят, что их прекрасный скот угоняют. «Взгляните только! — кричали они. — Его забирают пруссаки! Запретите им! Помогите!» Тут я подошел к окну, чтобы собраться с мыслями. «Уж простите меня, — шепчет мне подошедший пронырливый гусар, — я выдал вас за шурина прусского короля, чтобы вас лучше принимали и потчевали. Но крестьян я и не думал пускать сюда. Скажите им несколько ласковых слов, а там уж я с ними как-нибудь управлюсь!»

Как тут поступить? Раздосадованный такой незадачей, я взял себя в руки и сделал вид, будто и впрямь обдумываю, как им помочь, самому же себе сказал: без хитрости и плутовства на войне, говорят, не обойдешься. Кто берет себе в поводыри пройдоху и сам становится таковым. Главное — избежать постыдного скандала. Выписывает же врач рецепт безнадежно больному, лишь бы его подбодрить! Так поступлю и я: отпущу этих добрых людей, подбодрив их не столько даже добрыми словами, сколько благосклонными мановениями. Что поделаешь, успокаивал я свою совесть, уж если всамделишный кронпринц не мог вернуть коня несчастным людям, так где уж мне, мнимому шурину короля, бороться с жестокими нравами войны?

Мы прибыли в Спенкур кромешной ночью. Все окна были освещены — верный знак, что свободных комнат здесь не найти. Никуда-то нас не впускали: жители не хотели новых постояльцев,

постояльцы — новых соседей. Но наш гусар бесцеремонно вторгся в один из домов и, увидев там нескольких греющихся у очага солдат из корпуса эмигрантов, потребовал, чтобы они дали место тем важным господам, которых он сопровождает. Мы не замедлили проникнуть вслед за ним. Солдаты любезно потеснились, но вскоре опять расселись в самых странных позах, подставляя задранные ноги теплу раскаленных угольев, Время от времени они вскакивали, пробегали несколько шагов по комнате и опять усаживались поближе к очагу; тут я заметил, что все они заняты просушкой замокших снизу гамашей.

Присмотревшись, я признал в них знакомцев. Это были те самые солдаты, которые сегодня утром так аккуратно шлепали по грязи рядом с нашей каретой. Прибыв раньше нас, они успели счистить и смыть глину со своей амуниции и теперь сушились, чтобы завтра с должной галантностью снова тонуть в грязи изъезженной дороги. Поведение, что и говорить, образцовое, о котором следует помнить во многих житейских обстоятельствах. Я невольно вспомнил моих боевых товарищей, возмущавшихся приказом командования о поддержании необходимой чистоты в войске.

Умный и ловкий Лизёр устроил нас как нельзя лучше, но этим не довольствовался. Басня, так успешно подействовавшая сегодня днем, была им дерзко повторена и ночью. Звание генерала и свойство с королем произвели и на этот раз должное впечатление. Мы выжили из комнаты с двумя кроватями целое отделение несчастных солдат-эмигрантов, заселив ее двумя офицерами из полка фон Кёлера. Я же вышел из дома и направился в свой старый проверенный дормез, дышло которого на сей раз было повернуто в сторону Германии, что навело меня на совсем особые размышления, быстро прервавшиеся глубоким забытьем.

12 октября.

Сегодняшний путь был тягостнее вчерашнего. Чаще падали вконец заезженные лошади и лежали, бездыханные, по обочинам дороги вместе с опрокинутыми каретами. Из разорванных верхов грузовых фур выпадали прелестные саквояжи — собственность эмигрантского корпуса. Изящный вид этих ярких ничейных вещиц пробуждал собственнический инстинкт у иных вояк, не страшившихся обременить себя дополнительной ношей, которую они вскоре сами же сбрасывали в канаву. Отсюда, надо думать, и возникли темные слухи, будто пруссаки грабили эмигрантов во время ухода из Франции.

Веселых рассказов на эту тему было немало: застрявшая в

грязи тяжело груженная фура эмигрантов была брошена посреди дороги. Солдаты подошедших подразделений заинтересовались ее содержимым; особенно привлекли их ящички средней величины, но немалого веса, — уж не золото ли? С великим трудом дотащив их до первого привала, они порешили поделить между собой ценную добычу. Но что такое?! Из ящичков выпадает несметное количество карточных колод. Незадачливым золотоискателям пришлось утешиться взаимным подтруниванием и задорными издевками.

Мы же, минуя Лонгюйон, продвигались к Лонгви; радуясь тому, что не только светлые воспоминания меркнут в неблагодарной памяти, но и картины отвратительных ужасов постепенно гаснут в людском воображении. К чему повторяться! Дороги не делались лучше. По-прежнему вызывали омерзение лошадиные трупы с вырезанными кусками мяса. По-прежнему валялись раздетые донага тела убитых, иные едва скрытые от нас придорожным кустарником, другие простертые по обочинам.

Тут мы свернули в сторону, что дало нам случай отдохнуть и немного прийти в себя, а заодно и призадуматься над печальной судьбою состоятельных и благонамеренных горожан, попавших в переплет нежданных бедствий и ужасов военной невзгоды.

13 октября.

Наш проводник не хотел посещать своих богатых родственников в разоренном крае, почему мы направились в объезд через красивый и благоустроенный городок Арлон, где мы, заранее возвещенные нашим гусаром, нашли дружественный прием у людей солидных и зажиточных, в хорошо построенном и обставленном доме. Добрые люди обрадовались долго пропадавшему родственнику, верили в его исправление, усматривая явное поощрение и даже предстоящее ему повышение по службе в возложенной на него почетной задаче вывезти нас из опасного хаоса в двух каретах, запряженных столькими лошадьми, а заодно и наши большие деньги и драгоценности, в каковые он заставил уверовать простодушных родственников. Надо сказать, и мы поддержали его наилучшими отзывами, хотя в душе не слишком верили в исправление блудного сына. Но, будучи ему стольким обязанными, мы никак не могли поставить под сомнение обретенное им благонравие. Продувной малый так сумел подольститься к нежным родичам, что даже удостоился немалого денежного подарка, и притом в звонком золоте. Мы же тем временем насладились отменным холодным завтраком и превосходными винами, стараясь на расспросы хозяев, потрясенных всем происходившим, давать елико возможно

успокоительные ответы, в частности, и о том, что предположительно должно было произойти в ближайшем будущем.

Перед домом мы обратили внимание на странные повозки, более длинные и даже высокие, чем обычные грузовые фуры, и к тому же с какими-то непонятными пристройками по бокам. Меня разобрало любопытство, и я позволил себе спросить, что это такое. Мне ответили доверительно, но как-то осторожно: «В фуре находится эмигрантская печатня, фабрикующая фальшивые ассигнации, а это источник нескончаемых бедствий для всей нашей области. Мы и раньше-то не жаловали ассигнаций, а теперь, после вступления союзных войск, пустили в обращение еще и эти, поддельные. Благоразумное купечество, не желая опростоволоситься, нашло способ тотчас же переправить в Париж этот подозрительный бумажный товар и получило официальное подтверждение его фальшивости. Но это тем более подорвало всякую торговлю: ведь если подлинные ассигнации — риск, то фальшивые — полный разор, а поскольку на первый взгляд фальшивые ничем не отличаются от нефальшивых, то никто толком не знает, чем платить и что получать». Дух сомнения, взаимного недоверия и страха распространился теперь и на Люксембург и Трир, — словом, трудно себе представить худшее бедствие.

Все беды, былые и только еще предстоящие, эти люди встречали с истинным достоинством, дружелюбием и благожелательностью, чему мы не могли не подивиться, хотя отсвет этих высоких чувств нам и был знаком по величавым французским драмам давних и новых времен. Ничего подобного мы не можем себе даже вообразить в нашем отечестве — ни в действительности, ни в ее поэтическом воссоздании. Если пьеса «Petite Ville»[5], быть может, и пошловата, то «Немецкие провинциалы» абсурдны.

14 октября.

Из Арлона в Люксембург мы ехали, к приятному нашему удивлению, прекрасной шоссированной дорогой. В крепость, некогда так надежно охраняемую, нас впустили, как в любую деревушку. Никем не окликнутые и не остановленные, мы изнутри осмотрели бастионы, валы, рвы, подъемные мосты, стены, ворота. Всем прочим мы предоставили распоряжаться нашему бравому гусару, который надеялся здесь отыскать своих родителей. Город был переполнен ранеными и больными, а также энергичными людьми, желавшими здесь отдохнуть, привести в пригодность свои экипажи и обзавестись более резвыми

лошадьми.

До сих пор мы все держались вместе, но здесь нам предстояло расстаться. Наш ловкий квартирмейстер нашел для меня удобную комнату, в высокие окна которой проникало достаточно света из узкого дворика, в каковой она выходила. В ней Лизёр прекрасно устроил меня с моими пожитками и вкратце рассказал о хозяевах и прочих жильцах этого домика, заверив, что за малую плату меня будут терпеть здесь, сколько мне заблагорассудится, позаботятся и о моем благополучии.

Я впервые мог открыть мой сундучок, стать обладателем моих вещей, денег и рукописей. Первым делом я привел в порядок бумаги, касавшиеся учения о цвете, руководствуясь правилом: всемерно расширять свои исследования и совершенствовать положенный в их основу научный метод. К моему военному дневнику меня не тянуло; несчастливый ход событий заставлял опасаться худшего, так стоит ли бередить свои раны! Тихая комнатка, удаленная от житейского шума, предоставляла простор для сосредоточенных размышлений, не хуже чем монашеская келья, но стоило только ступить за порог укромного дома, как ты вновь оказывался в сутолоке военного времени и мог сколько угодно бродить по городу, самому странному и занятному, какой только можно найти на свете.

15 октября.

Кто не видел Люксембурга, не может составить себе должного представления об этом крепостном сооружении, распластанном вширь и вздыбленном ввысь, бастион над бастионом. Воображение теряется, пытаясь восстановить картину невиданного многообразия, с которым никогда не освоится взор праздного пешехода. Нужно иметь под руками карту и четко вычерченный план, чтобы сколько-нибудь разобраться в нижеследующем.

Между скалами и вокруг скал вьется ручей, именуемый Петрусом; потом он сливается с другой рекой, Эльце. Он течет то по своему естественному руслу, то направляясь в искусственно вырытые каналы. На левом берегу, на высоком плато, расположен старый город. Со своими крепостными строениями он с равнинной стороны подобен любому укрепленному месту. Однако, обеспечив безопасность города с запада, сочли необходимым защитить его также и с той стороны, где река течет в глубоком ущелье. Военное искусство все совершенствовалось, и пришлось возводить все новые и новые бастионы также и на правом берегу — на севере, востоке и юге, притом преимущественно на выступах скал, все более выносящих вперед

разраставшийся город, — все эти укрепления были необходимы для взаимной их защиты. Так возникла необозримая цепь бастионов, редутов, серпов, полумесяцев, ломаную линию которой оборонительное искусство создает лишь в редчайших случаях.

Нет ничего более удивительного и странного, чем вид узкой и тесной долины, по которой течет река, проходящая между всеми этими крепостными укреплениями. Немногие ровные места долины, пологие спуски и некрутые подъемы покрыты садами, расположенными террасами, оживленными жилыми домиками и беседками. Глядя отсюда вверх, видишь слева и справа крутые скалы, высокие отвесные стены. Великое здесь счастливо соединяется с изящным, разумно взвешенное — с прельстительным; можно было бы только пожелать, чтобы сам Пуссен проявлял свой великолепный талант именно в подобной величаво-пленительной обстановке.

У родителей нашего шалопая-проводника был садик, расположенный на склоне горы в Поповской долине; они охотно разрешили мне пользоваться им. Находившиеся неподалеку церковь и монастырь оправдывали наименование этого Элизиума и обещали добронравным жителям покой и мир, хотя всякий взгляд, брошенный вдаль и ввысь, тотчас же напоминает о войне, о насилии и гибели.

Какое же счастье было в эти дни бежать в тенистую тишь из городской сутолоки, где разыгрывался ужасный эпилог войны, с его лазаретами, изуродованными человеческими телами, разбитыми фурами, поврежденными лафетами, колесами, осями, с его неизбывной нуждой и разрухой. Как хочется уйти с людных улиц, где каретники, кузнецы и другие ремесленники трудятся неутомимо и шумно, и спрятаться в малый садик вдоль Поповской долины. Здесь человек обретает вожделенный покой и возможность сосредоточиться, собраться с мыслями.

16 октября.

Многообразие громоздящихся друг над другом крепостных сооружений превосходит все мыслимые представления. Куда ни ступишь, пусть только на шаг, вперед или назад, вверх или вниз — вся панорама мгновенно меняется, пробуждая желание запечатлеть на бумаге хоть что-нибудь из необъятного. Как не могла не очнуться во мне стародавняя потребность, если учесть, что я уже столько недель не видал ничего, достойного увековечения. Особенно бросалось в глаза, что стоявшие друг против друга скалы, могучие стены и бастионы соединялись, вершина с вершиной, подъемными мостами, галереями и другими

диковинными сооружениями. Военный инженер — тот стал бы смотреть на это глазами причастного фортификационному искусству и оценивая острым взглядом солдата эту твердыню, радуясь ее прочности; я же мог разве лишь уловить живописный ее эффект и, конечно, охотно поупражнялся бы в умении точно передавать увиденное, если б не строгий запрет что-либо рисовать в крепости.

19 октября.

Проведя несколько дней в городе-крепости, где, соперничая друг с другом, сотворенные природою скалы и военные сооружения создавали неодолимые препоны и непроходимые ущелья, а рядом с ними насаждались деревья и разбивались сады с тенистыми беседками, я исходил немало дорожек, предаваясь мечтам и раздумьям, а потом, возвратившись домой, запечатлевал на бумаге виды города, как они постепенно слагались в моем воображении, — пусть несовершенные, но все же передающие необычный, диковинный город и воскрешающие в памяти мое тогдашнее настроение.

20 октября.

Времени было достаточно, чтобы обдумать недавнее прошлое, но чем больше я думал, тем больше путались мысли и затуманивалось будущее. Я вполне сознавал, что главное теперь — готовиться к тому, что нам предстояло. Нужно проехать несколько миль, отделявшие нас от Трира. Но что нас там ожидало теперь, когда господа эмигранты следуют за нами по пятам вместе с новыми беглецами.

Однако самым горестным известием, наполнявшим гневом фурий даже сердца смиренных праведников, явилось известие, которое никак нельзя было скрыть, а именно то, что наши высшие военачальники все время вели переговоры с проклятыми подстрекателями, которых пресловутый манифест обрекал заслуженной каре, а свершенные дела изобличали их как злодеев. И в их руки теперь приходилось передавать взятые нами крепости только для того, чтобы обеспечить себе возвращение на родину. Я видел иных среди нас, уже близких к умопомешательству.

22 октября.

На пути в Трир, подъезжая под Гревенмахерн, я ничего не застал от былого скопища роскошных карет эмигрантов. Голое поле, вкривь и вкось испещренное глубоко врезавшимися в размокшую почву следами от широко расставленных колес,

молчаливо напоминало о тогдашнем скитальческом нашем существовании. Мимо почтовой станции я проехал, не останавливаясь, на моих реквизированных лошадях. Памятный почтовый ящик стоял на прежнем месте, но вкруг него люди теперь не толпились, и во мне сами собой шевельнулись незваные скорбные мысли.

Но вот прорвавшийся солнечный луч внезапно озарил всю округу, и, как маяк в беспросветную ночь, блеснул мне навстречу монумент Игеля.

Быть может, никогда величие древнего мира не воздействует так властно на наше чувство, как в сопоставлении с невзрачной действительностью сегодня. Этот монумент свидетельствует об отшумевшей войне, но более счастливой, победоносной, о днях прочного, длительного благосостояния предприимчивых людей вот в этой местности.

Воздвигнутый в позднейшие времена Антонидов, он все же сохранил бесценные качества великого искусства, и его, хоть и поврежденные, остатки внятно говорят нам о чувстве радостно-деятельной жизни. Он надолго приковал меня к себе, и я многое внес в мой путевой дневник, неохотно с ним расставаясь, уже потому, что так неважно чувствовал себя в моем жалком положении.

Но и теперь всплыло в душе моей радостное предвидение, вскоре превратившееся в непреложную действительность.

23 октября.

Мы привезли нашему другу лейтенанту фон Фричу, которого мы застали на его прежнем, столь ненавистном ему тыловом посту, радостную весть о награждении его орденом «За заслугу» — по праву, ибо он совершил геройский поступок, но и по везению, так как он удостоился высокой награды, не испив той горькой чаши, которую всем нам пришлось осушить. Вот как обстояло с этим делом.

Французы считали, что мы, довольно далеко зайдя в пределы их родины, находимся далеко от Трира, претерпевая великие бедствия, и потому отважились нанести непредвиденный удар по нашему тылу; они приближались к городу со значительными силами и даже с артиллерией. Лейтенант фон Фрич во главе малочисленного отряда идет навстречу неприятелю. Такая бдительность смущает французов и наводит их на мысль, что вслед за головным отрядом обрушится на них великое войско. После короткой стычки противник отступает к Мерцигу и больше уже не появляется. Лошадь нашего друга ранена, и та же пуля задевает его сапог; зато он возвращается победителем и

удостаивается торжественной встречи. Магистрат и жители города осыпают его любезностями. Девушки, до того благоволившие к нему как к красивому молодому человеку, вдвойне восхищаются им как героем.

Лейтенант тотчас же пишет реляцию своему начальнику, а тот, как положено, сообщает обо всем происшедшем королю: и отсюда — указ о пожаловании ему голубой звезды. Быть свидетелем безмерного счастья славного юноши, переживать вместе с ним его великую радость было истинным наслаждением. Счастье, нас не жаловавшее, посетило его в нашем тылу. Он был с лихвою вознагражден за беспрекословное солдатское повиновение, казалось бы, приковавшее его к бесславной тыловой службе.

24 октября.

Мой юный друг опять поселил меня у того же каноника. Распространившаяся в войсках болезнь отчасти коснулась и меня, так что и я теперь нуждался в уходе и лекарственных снадобьях.

В тиши затянувшегося досуга я сейчас же обратился к кратким заметкам, внесенным мною в путевой дневник перед монументом близ Игеля.

Если говорить об общем впечатлении от памятника, то в нем друг другу противопоставлены жизнь и смерть, настоящее и будущее, и то и другое снимается в высшем эстетическом единстве. Таковы были суть и средства великолепного искусства древних, которое еще долго царило в художественном мире.

Высота монумента от силы достигает семидесяти футов; он вздымается ввысь чредою нескольких архитектонических ярусов, что дает некоторое основание говорить о нем как о подобии обелиска. Сначала — основание и цоколь, затем главная масса, а над нею аттик и фронтон; завершается все это чудесно взмывающим шпилем с остатками шара и орла. Каждый ярус, из которых слагается монумент, украшен рельефными изображениями и орнаментами.

Правда, это обилие украшений явно указывает на позднейшее сооружение памятника, так как таковые входят в обиход, как только утрачивается чистое чувство пропорций, в чем можно упрекнуть и это произведение искусства.

Но, невзирая на сказанное, следует признать, что этот памятник опирается на высокие достижения былого искусства, эпоха коего только незадолго до того стала склоняться к своему упадку. Вообще же во всех изображениях монумента продолжает властвовать дух античности: всюду воссоздастся доподлинная жизнь, аллегорически сдобренная привычными представлениями,

почерпнутыми из мифологии древних.

На главном его поле — две фигуры, мужчина и женщина, мощной стати — в руке главы семейства рука его супруги, а над ними парит третья, уже стершаяся, видимо, их благословляющая; они стоят меж двумя богато орнаментированными пилястрами, на которых расположены друг над другом танцующие дети.

Все прочие поля указуют на счастливые, взаимосогласные отношения семейства, на дружескую совместную деятельность всех родичей фамилии и обретенное их честным, согласным трудом праведное благосостояние.

Но, по сути, здесь надо всем главенствует прославление труда, неустанной деятельности; не берусь объяснять все изображения. На одном поле, видимо, представлены купцы, обдумывающие предстоящее дело. Но тем более очевидны и не допускают разногласия груженые суда, украшенные изображением дельфинов, идущие друг за другом вьючные кони, прибытие и осмотр товаров и подобные вполне привычные человеку житейские сцены.

А выше, на аттике, — мчащаяся лошадь, быть может, недавно еще везшая груженую телегу и дюжего возчика. На фризах и других плоскостях, а также на фронтоне — Вакх, фавны, солнце, луна и прочие разности, способные украсить шпиль и пилястры.

Все в целом производит отраднейшее впечатление, и мы вправе утверждать, что и на уровне, ныне достигнутом нашей архитектурой, а также изобразительными искусствами, было бы вполне возможно воздвигнуть величественный памятник достойнейшим современникам, их деяниям и благородным досугам. Мне было приятно провести в таких размышлениях день рождения всеми нами почитаемой герцогини Амалии. Я тихо отпраздновал его в полном одиночестве, перебирая в памяти труды и дни ее жизни. И тут возникло во мне страстное желание хотя бы мысленно воздвигнуть ей во славу такой же обелиск, заполнив все его плоскости до нее относящимися изображениями совершенных ею мудрых деяний и неустанной благотворительности.

Трир, 25 октября.

Выпавшие на мою долю покой и заботливый уход позволили мне привести в порядок и пересмотреть многое из того, что было мною продиктовано в беспокойно-сумбурное время. Я частию выправлял, частию заново излагал мои хроматические заметки, изрядно пополнил и уточнил мою таблицу цветов, не раз ее изменяя, дабы сообщить большую наглядность тому, что утверждалось и высказывалось мною раньше, и стремясь довести

свои мысли до очевидной непреложности. В этой же связи я хотел всегда иметь под рукой третий том Фишерова «Физического лексикона». По тщательно наведенным справкам, я нашел наконец несчастную судомойку в благоустроенном лазарете при женском монастыре. Она хворала все той же столь распространившейся болезнью; но палаты были опрятны и хорошо проветрены. Она меня узнала, но не могла говорить, а только вынула из-под подушки третий том и дала мне его из рук в руки таким же чистым и нерастрепанным, каким я некогда ей вручил его. Видно, мои напутственные слова не пропали даром.

Меня навещал один молодой учитель, приносивший мне новейшие журналы, с которым я охотно вступал в содержательные беседы. Он крайне удивлялся, как многие другие, что я будто и вовсе не интересуюсь поэзией и, как казалось, все свои силы обратил на познание природы. Он основательно был знаком с Кантовой философией, и это мне облегчило объяснить ему путь, пройденный, вернее только начатый, мною. Если Кант в своей «Критике способности суждения» усматривал некую общность эстетической способности суждения с телеологической, он тем самым хотел сказать, что творение искусства надо рассматривать как творение природы и, напротив, творение природы как творение искусства и что ценность каждого из них зиждется в нем самом и в каждом из них должна усматриваться независимо от чего-либо стороннего. Говорить об этом предмете я мог весьма красноречиво и, льщу себя надеждой, не без пользы для славного молодого человека. Поразительно, что в любую эпоху люди носятся и возятся с правдой и кривдой недавнего, а то и давнишнего прошлого, и только отдельные бодрствующие умы идут новыми путями, но — увы! — в одиночестве или обретая спутника, верного тебе разве лишь на малом перегоне долгой дороги.

Трир, 26 октября.

Нельзя и шага ступить из своего тихого затвора, не очутившись в глухомани мрачного средневековья, где монастырские стены и непрерывная, хоть и необъявляемая война непрестанно противостоят друг другу. Особенно сетуют домоседы-горожане и улепетывающие эмигранты на ужасное бедствие, поразившее города и веси из-за вошедших в обращение фальшивых ассигнаций. Солидные торговые дома направили эти сомнительные расчетные знаки в Париж, чтобы выяснить их подлинность или подложность, то есть полную обесцененность таковых и даже подсудную опасность рассчитываться

фальшивыми ассигнациями. Само собою, что тем самым подрывался кредит и подлинных. Все догадывались, что при изменившихся обстоятельствах легко может случиться и полное изничтожение всех бумажных денег, фальшивых и нефальшивых. Это нависшее над страной новое несчастие, в дополнение к прежним, всем казалось уже безмерным, сравнимым разве лишь с тем, когда на твоих глазах пожар испепеляет родимый город.

Трир, 28 октября.

Табльдот, надо сказать, вполне приличный и даже разнообразный, был очень пестр и разношерст по составу посетителей: военные в разновидных мундирах всех цветов, чиновники в своих вицмундирах разных ведомств, все втихую чем-то недовольные, а подчас и несдержанные на язык, но вкупе все без исключения пребывающие в одном и том же аду.

Но именно здесь мне довелось пережить истинно трогательную случайную встречу. Старый гусарский офицер, среднего роста, с поседевшими усами и такой же головой, подошел ко мне после обеда, схватил меня за руку и спросил, неужели же и я все это выстрадал вместе с другими? Я рассказал ему кое-что о Вальми и о Ане, что дало ему возможность представить себе все остальное. Он заговорил с энтузиазмом и живым участием, в словах, которые я не решаюсь даже доверить бумаге. Смысл его речи сводился к тому, что было безответственным подвергать таким испытаниям и тех, чьим солдатским долгом является, рискуя жизнью, претерпевать такие беды, равных которым не знает история; но то, что и я (он высказал свое мнение обо мне как личности и о моих работах) должен был пережить такое, с этим он никак не мог примириться. Я попытался отозваться о пережитом с более отрадной стороны. Заговорил о моем государе, которому я был и там небесполезен, о том, что охотно разделял суровое испытание со смелыми боевыми товарищами. Но старый рубака стоял на своем. Тут подошел к нам кто-то из цивильных и заявил, что надо меня благодарить за то, что я пожелал все это видеть воочию, ибо от моего испытанного пера только и можно ждать достоверного воссоздания и объяснения происшедшего. «Он слишком умен! — воскликнул старый вояка, ничуть с ним не соглашаясь. — Писать то, что ему дозволят написать, он не захочет, а писать, что он хотел бы высказать, ему не удастся».

Впрочем, все, что доводилось слышать, подтверждало, что возмущение было безграничным. Но если бывает подчас несносным, когда счастливчик беспрестанно толкует нам о своем блаженстве, то стократ противнее, когда не устают пережевывать

постигшую нас беду, которую ты хотел бы предать забвению. Знать, что ненавистные тебе неофранки вытеснили нас из своей страны, знать, что мы вынуждены вести с ними переговоры, вынуждены дружить с людьми Десятого августа, вот с чем не мирилась возмущенная душа, вот что было горше перенесенных страданий. Мы не щадили и верховного командования. Доверие к знаменитому полководцу, которое окружало его имя на протяжении долгих десятилетий, казалось, рухнуло теперь навсегда.

Трир, 29 октября.

Когда мы вновь очутились на родной немецкой земле и могли надеяться, что удастся выпутаться из чудовищного клубка событий, нас поразила весть о смелом и победоносном продвижении Кюстина. Им был захвачен огромный шпейерский арсенал, что облегчило ему задачу завладеть крепостью Майнца. Его успехи грозили бесконечной чредою новых бедствий и обличали в Кюстине чрезвычайный ум, столь же смелый, сколь и последовательно-рассудительный, а коли так, что могло перед ним устоять? Всем казалось не только вероятным, но и неизбежным занятие французами Кобленца. Могли ли мы при так сложившихся обстоятельствах продолжать свой отход? Уже и Франкфурт был мысленно отдан неофранкам; под угрозой находились с одной стороны Ханау и Ашаффенбург, с другой — Кассель. А в дальнейшем чему только не будут угрожать французы? Имперские князья, чьи владения соприкасались с перечисленными городами, были парализованы бессмысленным договором о нейтралитете, но тем активнее вела себя воодушевленная идеями революции масса населения. Если Майнц поддался французскому влиянию, почему не воспламенятся теми же идеями и другие города? Что помешает и им включиться в завязавшуюся борьбу? Все это надлежало обсудить и обдумать.

Часто мне приходилось слышать: как могли французы без большого численного превосходства и тщательно обученных солдат предпринять столь решительные действия? Но первые шаги Кюстина поражали смелостью и обдуманностью; и он, и его помощники, и прочие командиры были сочтены мудрыми, энергичными и решительными мужами. Смятение умов было чрезвычайно, и эта беда среди всех уже перенесенных забот и страданий была бесспорно величайшей.

Среди этих невзгод и треволнений до меня дошло запоздалое письмо моей матери — послание, чудесным образом воскрешавшее ребячески-беспечные и фамильно-правовые порядки былого времени. Умер мой дядя, главный судья Текстор,

близкое родство с которым меня лишало при его жизни возможности занимать почетно-деятельную должность франкфуртского ратсгерра, но теперь, в силу достохвального обычая, обо мне тотчас же вспомнили, как о лице, имеющем ученую степень и преуспевшем на служебном своем посту.

Моей матери поручили запросить меня, согласен ли я выставить свою кандидатуру и занять должность ратсгерра, если я получу при голосовании заветный золотой шар? Я был смущен. Запрос этот не мог меня застать в более странный миг моей жизни, как именно в этот, когда я упорно думал о пройденном жизненном пути. Передо мной всплывали образы, не дававшие сосредоточиться моей мысли. Но подобно больному или узнику, стремящемуся развлечься старой сказкой, перенесся и я в другую сферу, в другие, давно минувшие годы.

Я увидел себя в дедовском саду, где среди шпалер плодоносных персиковых деревьев аппетит его внука сдерживался только силою строгой угрозы быть изгнанным из этого рая и надеждой получить из рук моего предка самые румяные из плодов; иначе б я не выдержал медлительности часовой стрелки. Потом вспоминался мне мой сановный дедушка, ухаживавший за розами в старинных перчатках, чтобы не наколоться на острые шипы. Перчатки эти презентовались ему как главе города-республики в знак необложения Франкфурта имперскими налогами; дед напоминал мне благородного Лаэрта, но, в отличие от него, отнюдь не тоскующего и не удрученного. Видел я его и в полном облачении городского шультгейса, с золотою цепью, на тронном кресле под портретом императора; а потом в кресле-качалке — увы! — не в полном уже обладании разумом, а там — в последний раз — и в гробу.

Проезжая сравнительно недавно через Франкфурт, я видел дядюшку владельцем унаследованного дома, двора и сада; достойный сын своего родителя, он, подобно отцу, занимал теперь одно из первых мест в управлении городом. Здесь, в тесном семейном кругу, в почти не изменившемся старом доме ожили мои детские воспоминания и, вновь окрепши, предстали перед моим внутренним оком. Но потом к ним присоединились представления и мечты, относящиеся к годам моей юности, о которых тоже не следует умалчивать. Какой гражданин вольного имперского города станет утверждать, что он не надеялся, раньше или позже, стать ратсгерром, главным судьей, или бургомистром, или же, на худой конец, занять хотя бы меньшую должность в городской управе, добившись ее служебным усердием и осмотрительной аккуратностью; ибо сладостная надежда так или иначе участвовать в управлении вольным городом рано

пробуждается в груди каждого республиканца, сильнее же и более самонадеянно — в мальчишеском сердце честолюбивого отрока.

Долго предаваться мальчишечьим сладким грезам мне не пришлось. Я вдруг очнулся, как от резкого толчка. Меня объяло предчувствие предстоящих бедствий в тех самых местах, куда унесло меня воображение. Что-то стеснило и придавило меня и заодно заволокло туманом мой город, мою родину. Майнц был уже взят французами. Франкфурт под угрозой, если еще не захвачен; дорога к нему перекрыта. А внутри городских стен, на улицах и площадях, в знакомых домах и квартирах, жили мои кровные родичи и друзья детства, быть может, уже терпящие те невзгоды, которые так жестоко обрушились на жителей Лонгви и Вердена. Кто ринется добровольно в эту бездну злосчастия?

Но и в счастливейшую пору этого почтенного города я не откликнулся бы положительно на столь почетную пропозицию. Причины, тому препятствующие, слишком убедительны. Уже двенадцать лет я имею счастье пользоваться доверием и снисходительностью герцога Веймарского. Щедро одаренный природой и превосходно воспитанный и просвещенный, государь умел ценить мою благонамеренную, но далеко не всегда безукоризненно исполнительную службу и всемерно содействовал совершенствованию моих способностей, как едва ли какой-либо другой носитель верховной власти. Я был ему безгранично благодарен, глубоко почитал супругу и мать моего государя и все его семейство; привязался душой к его стране, для коей я и сам сделал немало. А как мне было не вспомнить об обретенном мною там, в Веймаре, круге высокообразованных друзей и о многом другом, отрадном и достойном любви в теснейшем моем окружении. Все эти милые образы и чувства меня утешили в эту скорбную минуту: ведь ты уже наполовину спасен, если из мрачных обстоятельств чужого края можешь бросить просветлевший взор в сторону благополучной родины; тем самым мы переживаем уже здесь, на земле, то, к чему нам предстоит приобщиться в сферах потусторонних.

В этом-то роде я тут же написал письмо моей матери, и хотя мои доводы в основном базировались, как могло показаться, лишь на моих чувствах и на заботах о личном моем благополучии, но я прибавил к ним и другие, предусматривавшие благо родного города и способные убедить также и моих благожелателей. Ибо как мог я деятельно участвовать в этом весьма своеобычном новом кругу, предполагающем бóльшую подготовку, чем какой-либо другой значительный пост? Я уже много лет приспосабливал мою службу к моим прирожденным способностям, и притом к таким, в которых Франкфурт меньше

всего нуждался; более того, я имел все основания прибавить, что поскольку членами городского совета должны, собственно, быть только бюргеры, а я так отвык сознавать себя таковым, то уже смотрю на себя почти как на чужеземца.

Всем этим я поделился с моей матерью, благодаря ее за посредничество, да она ничего другого и не ожидала. Впрочем, это письмо попало в ее руки очень не скоро.

Трир, 29 октября.

Мой молодой друг, с которым я с удовольствием обсуждал многоразличные литературные и научные вопросы, был весьма сведущ и по части истории города и его окрестностей. Наши прогулки в сносную погоду были поэтому очень занимательны, и я вынес из них немало общих сведений об этом примечательном крае.

Что касается Трира, то он, со слов его же обитателей, прежде всего отличается относительно большим обилием зданий церковно-монастырского и орденского назначения сравнительно с другими городами примерно такой же величины. И то сказать, внутри пространства, окруженного городской стеной, Трир перенасыщен, почти перегружен церквами, часовнями, монастырями, богоугодными заведениями, духовными коллегиями, монастырскими братствами и орденскими зданиями, в том числе и монашествующих рыцарских орденов, да и в его округе, за городской стеной, его окружают, я чуть не сказал: осаждают, разные аббатства, обители и даже скиты.

Все это свидетельствовало о великом земельном пространстве, которым отсюда управлял архиепископ, ибо его епархия охватывала и Мец, и Туль, и Верден. Но и князья-миряне не знали недостатка в обширных прекрасных владениях: так курфюрст Трирский обладал чудесной летней резиденцией, расположенной на обоих берегах Мозеля, да и в самом Трире высилось много дворцов, доказующих, что и светская власть в разные эпохи располагала и вглубь и вширь немалыми территориями.

Основание города затерялось во тьме баснословных времен; надо думать, что эта прелестная местность уже в седую старину заманила сюда множество поселенцев. Тревиры приобщились к Римской державе; поначалу язычники, потом христиане, они подпадали под власть норманнов, а позднее франков, и, наконец, этот дивный край вошел в состав Германо-Римской империи.

Я, само собой, хотел бы ознакомиться с этим городом и его жителями в лучшее время года и в мирной обстановке; его граждане, по общему признанию, славились своим добродушием

и весельем. Первое качество изредка сказывалось и теперь в их обиходе, второе — почти никогда, чему удивляться не приходилось: откуда ему и было взяться при столь превратных обстоятельствах.

Правда, стоит только заглянуть в летописи этого города, и неизбежно встретишься с повторными упоминаниями о пагубных разорениях и невзгодах, нанесенных войной этому краю, поскольку долина Мозеля, да и сама река облегчали продвижение вторгавшимся полчищам. Еще Аттила с его несметной ордою шел с далекого востока этим же путем — как при всех ошеломившем его вторжении, так и при вынужденном его уходе — словом, совсем как недавно поступали и мы. А чего только не натерпелось население этих мест в Тридцатилетнюю войну, когда курфюрст трирский присоединился к Франции, своему соседу и союзнику, за что он расплатился долгим пребыванием в австрийском плену. Да и междоусобицами не раз переболел этот город, как то обычно случалось в городах, подвластных епископам, с чьей духовно-светской верховной властью бюргер не так-то легко уживался.

Мой вожатый, посвящавший меня в историю города, обращал мое внимание на здания, воздвигнутые в самые разные эпохи, каковые чаще производили впечатление курьеза, тем и будучи примечательными, но отнюдь не отвечали запросам вкуса — в отличие от ранее обсуждавшегося мною монумента в Игеле.

Развалины римского амфитеатра показались мне весьма внушительными. Но поскольку само здание давно обрушилось и, надо полагать, в течение ряда веков служило как бы каменоломней, судить о нем невозможно. Восхищало в нем только то, как древние, с присущей им мудростью, умели осуществлять великие замыслы достаточно скромными средствами, используя естественный рельеф местности — долину, зажатую двумя холмами, что счастливо избавляло зодчего от многих дорогостоящих лишних земляных работ и от заложения объемистого фундамента. Если подняться повыше по горе Марса, у подножия которой громоздятся эти груды разрозненных каменьев, открывается вид на монастырские соборы, где хранятся в искусно сработанных драгоценных раках святые реликвии, а также на другие церкви и церквушки, крыши и навесы. Все это — на противостоящей Марсовой Аполлоновой горе. Так оба бога, а возле них и Меркурий, хранят свои имена в народной памяти. Их мраморные изваяния можно было убрать, но их дух, их священное дыхание не поддавалось устранению.

Для ознакомления с зодчеством раннего средневековья Трир располагает множеством диковинных памятников. Я в них не очень-то разбираюсь; да они, насколько я заметил, мало задевают

за живое просвещенного туриста. Многое из этой старины бесследно скрылось под землей, другое сохранилось только частично и пошло случайным владельцам на совсем другую, изначально не предусматривавшуюся потребу.

Через большой мост, тоже сооруженный в римские времена, мне посчастливилось впервые перейти в час, когда всего нагляднее видишь, как этот город, возникший на остром углу суши, нацеленном на левый, противоположный берег Мозеля, стал, постепенно разрастаясь, заполнять весь неправильный треугольник отмели, впирающейся в широкий плес судоходной реки. С подножия горы Аполлона отчетливо видишь всю окрестность: реку, мост, мельницы, город и еще не вовсе лишенные листвы виноградники — как у нас под ногами, так и на малых высотах Марсовой горы насупротив. Вся эта панорама явственно напоминает, что мы находимся в благодатном краю, и пробуждает в сердцах чувство довольства и веселья, которое всегда парит в самом воздухе винодельческой страны. Лучшие сорта мозельских вин после знакомства с ландшафтами края обрели, так кажется, более прелестные и чудодейственные свойства.

Трир, 29 октября.

Сегодня прибыл государь, избрав себе резиденцией монастырь св. Максима. Богатые и обычно утопавшие в роскошном довольстве виднейшие представители монастырской братии были, что и говорить, уже не раз в последнее время несколько обеспокоены в своем беспечальном житии. У них недолго стояли братья несчастного короля, и с тех пор постои не прекращались. Такая обитель, порожденная потребностью в мире и покое и на другой образ жизни не рассчитанная, заметно преобразилась сообразно обстоятельствам, и противоположность рыцарских и монастырских нравов тут не могла не обнаружиться. Но наш герцог и здесь, хотя и будучи незваным гостем, сумел, как всегда и повсюду, завоевать симпатию хозяев богоспасаемого убежища своею щедростью и простодушной общительностью, и, более того, он распространил их симпатию и на своих приближенных.

Но меня и здесь продолжал преследовать злобный демон военных невзгод. Наш добрый полковник фон Гош тоже жительствовал в монастыре. Я свиделся с ним ночью у одра больного сына, страдавшего все той же повальной напастью, и притом в тягчайшей форме; отец усердно ухаживал за ним. Здесь мне снова пришлось услышать ту же скорбную песню, сдобренную страстными проклятиями, из уст старого солдата и огорченного

отца. Он осуждал все ошибки и упущения, допущенные нашим командованием, и притом со знанием военного ремесла; помянул он недобрым словом и позорно упущенный нами Ислетти, и все, кому было ведомо значение этой ключевой позиции, вполне понимали его возмущение.

Я же радовался возможности ближе присмотреться к аббатству и вполне оценил истинно княжеский дворец епископа-настоятеля — эти царственные чертоги, высокие и просторные, с искусно сложенными из мраморных или древесных плит полами. Не было здесь недостатка ни в шелковой обивке, ни в дамасских панелях, ни в резных или лепных украшениях, а также в позолоте, словом, во всем, чем поражают взор пышные чертоги и покои. И все это дважды и трижды повторялось в огромных зеркалах парадных помещений.

Лицам, нашедшим убежище во дворце настоятеля, жилось отлично. Но для лошадей явно не хватало конюшен, так что иным из них пришлось жить под открытым небом, без подстилки, без яслей и корыт. К тому же, на беду, прохудились мешки для овса, и лошади подбирали его с земли.

Но если конюшни были невместительны, то тем вместительней и просторней были монастырские погреба. Кроме плодов со своих виноградников, монастырь взимал десятину и с крестьянских. За последние месяцы было выпито великое множество бочек, судя по опорожненным, валявшимся во дворе.

30 октября.

Герцог давал парадный обед, к каковому были приглашены три наиболее знатные особы, представлявшие Римскую церковь. Они предоставили нам в пользование чудесное столовое белье и великолепный фарфоровый сервиз. Серебро было представлено скупее, так как все сокровища и драгоценности обители хранились в тайниках Эренбрейтштейна. Блюда были отменно приготовлены веймарскими поварами. Вина, прибывшие из Люксембурга, которые должны были следовать за нами во Францию, пришлись нам очень по вкусу. Но наивысшей похвалы удостоился дивный белый хлеб, невольно заставивший нас вспомнить об отвратном солдатском хлебе, знакомом нам по Ану.

В те дни я усердно занимался историей Трира, тем самым, разумеется, и историей аббатства св. Максима, почему я и мог с честью поддержать разговор с моим соседом, ученым католическим богословом. Древность прославленной обители послужила нам предпосылкой беседы и дала мне возможность заговорить о славе и превратностях ее судеб. Близость монастыря от города была равно опасна для обеих сторон. В лето 1674

монастырь был сожжен и начисто разграблен. О том, как его восстановили и как он постепенно обрел свое нынешнее обличье, мне также было известно. Касательно этого можно было высказать немало добрых слов и похвал, что доставило очевидное удовольствие моему рясоносному соседу. О новейших временах он не проронил ни одного одобрительного слова: он-де достаточно нагляделся на французских принцев и высказался с осудительной резкостью о их бесчинствах, заносчивости и мотовстве.

Чтобы отвлечь его от этой темы, я вновь обратился к седой старине. Но только я упомянул о славных временах, когда настоятель св. Максима уравнял свой сан и светскую власть с саном и правами трирского архиепископа, и о том, что он даже входил в состав высшего совета имперских сословий, как мой собеседник с улыбкой отклонил затронутый мною вопрос, как несовместный с духом нового времени.

Заботы герцога о полке, шефом коего он состоял, получили определенную, вполне деловую направленность. Убедившись, что тяжело больных никак нельзя везти в санитарных телегах или экипажах, он зафрахтовал корабль, чтобы на нем, без ущерба для здоровья, доставить их в Кобленц.

Но кроме лежачих больных на борт корабля были приняты, уже по другой причине, и другие воины. Дело в том, что во время нашей ретирады довольно скоро обнаружилось, что пушек при наличествующей конной тяге никак не вывезти. Артиллерийские лошади падали одна за другой, а замены им не было. Кони, реквизированные еще при наступлении, частично разбежались и сгинули. Пришлось прибегнуть к крайней мере: выделить из каждого кавалерийского полка известное число людей, спешить их и велеть им впредь следовать за армией пешим ходом — иначе не спасти уцелевших пушек. В своих жестких, негнущихся кавалерийских сапогах, к тому же вскорости прохудившихся, бедные парни, шагая по ужасному месиву дорог, страдали безмерно. Но судьба сжалилась и над ними. Герцог приказал в Кобленц доставить их речным транспортом.

Ноябрь.

Государь мне препоручил нанести от его имени прощальный визит маркизу Луккезини и заодно кое-что обсудить с ним. Поздним вечером, не без некоторых препирательств с прислугой, я был допущен к этому, некогда ко мне благоволившему, замечательному человеку. Изящная любезность и приветливость, с какою он меня встретил, меня обрадовала и обнадежила, чего нельзя сказать об его ответах на мои вопросы и о том, как он

откликнулся на мои пожелания. Простился он со мной все так же дружески-приветливо, но ни в чем не пошел мне навстречу. По правде сказать, я от него и не ждал ничего другого.

Насмотревшись на сборы и отъезд тяжело больных, а также безлошадных кавалеристов, я и сам почувствовал, что умнее всего было бы искать спасение в водной глади. Правда, очень не хотелось оставлять здесь мою карету, но мне обещали доставить ее в Кобленц, а потому, ободренный этим заверением, я смело нанял двухвесельную лодку, в которую тут же погрузили все мои пожитки, чем я был вдвойне доволен, так как не раз считал их уже утраченными или же опасался их утратить. Принял я на борт своего судна и молодого прусского офицера, давнего знакомого, которого помнил еще пажом. Он и теперь еще не утратил своей придворной обходительности и даже припомнил, что всегда самолично презентовал мне чашку послеобеденного кофе.

Погода была сносной, и плыли мы спокойно, тем более ценя свое благоденствие, видя, как мучительно продираются наши колонны, одолевая проселочную дорогу, время от времени приближавшуюся к речному руслу, и как они завязают в размытой дождями глине. Уже в Трире мы наслышались жалоб на то, что при таком поспешном отступлении становится все затруднительнее отыскивать сносные пристанища. Сплошь и рядом случается, что полк, подходя к селению, предназначавшемуся ему для ночевки, находит его занятым другою частью, — и отсюда то и дело возникавшие яростные споры, беспорядки и в результате общее недовольство.

Прибрежный ландшафт Мозеля за время плавания часто разительно преображается. Хотя река с упорным упрямством и придерживается главного своего направления с юго-запада к северо-востоку, она как-никак должна считаться с тем, что течет она вдоль каверзной гористой местности и что ее то и дело теснят то справа, то слева мощным углом врезающиеся в речную гладь кремнистые горы, почему продвигаться вперед можно, только не переставая змеиться гигантскими петлями. Такое плавание посильно лишь истинному мастеру своего дела. Наш гребец превосходно проявлял свою силу и ловкость: осторожно огибал выступающий утес и тут же смело ускорял бег ладьи, искусно используя мощь потока, низвергающегося с отвесной скалистой махинищи. Множество селений по обе стороны реки оживляют прибрежную местность; всюду отлично ухоженные виноградники говорят о том, что здесь проживает веселый, работящий народ, не страшащийся лишнего труда ради добычи пленительной влаги. Использован каждый солнечный пригорок, но особенно привлекли наше внимание отвесные скалы на берегу

Мозеля, на узком земляном ободке которых, как на террасе, сооруженной самой природой, виноград рос и зрел лучше, чем где-либо.

Мы причалили у пригожего заезжего двора, где нас тепло встретила престарелая хозяйка, которая долго жаловалась на постигшие ее горести, но особенно желала она всяческих бед ненавистным эмигрантам, которые вели себя за ее общим столом омерзительно; безбожники кидали друг в друга шариками, слепленными из мякиша богоданного хлеба, так что ей и служанкам приходилось выметать эту божью благодать вениками, проливая горючие слезы.

Так мы и плыли счастливо и не ведая страха вниз по течению вплоть до вечерних сумерек, когда мы попали в грозившую нас поглотить круговерть встречных речных течений, начинавшуюся с приближением к кремнистым высотам Монрояля. Тут мы были захвачены ночью раньше, чем достигли Трарбаха или хотя бы могли его обнаружить. Кромешный мрак — не видно ни зги. Знали мы только, что нас теснят и скалы, и прибрежные горы. А тут началась еще и буря, уж не раз возвещавшая свое приближение порывистыми налетами лютого ветра. Река то взбухала от ветра, дувшего навстречу течению, то принимала его удары, вздымавшие волны, которые, одна за другой, обрушивались на утлое наше суденышко, обдавая нас пронизывающей влагой. Гребец не скрывал своего смятения. Беда возрастала, чем дольше она продлевалась. Страх достиг предела, когда отважный лодочник признался, что и сам не знает, где он находится и какого направления ему держаться.

Наш спутник молчал, да и я замкнулся в себе. Мы неслись невесть куда в беспросветной тьме; лишь изредка мне казалось, что темень там, вдали, была чуть гуще ночного неба в нависших тучах, но то было слабым утешением, сомнительной надеждой на близость суши. Сдавалось, мы так и не вырвемся из плотного кольца отвесных берегов и одиноких скал. Мы еще долго мотались в непрореженном мраке вниз-вверх, вперед и вспять, пока вдали не забрезжил огонек и вместе с ним робкий луч надежды. Теперь мы дружно заработали рулем и веслами, пробиваясь к пристани, чему усердно содействовал и мой Пауль.

Наконец-то мы счастливо высадились в Трарбахе, где в сносной харчевне нас обещали накормить курицей с рисом. Но один именитый купец, услышавши о нашем прибытии в ночь и в бурю, настоятельно потребовал, чтобы мы заглянули в его дом, где мы при обильном свете с наслаждением, усиленным перенесенной невзгодой, чуть не растроганно созерцали английские офорты под стеклом и в искусно сработанных рамах.

Хозяин и его жена, люди еще молодые, всячески нас ублажали. Было выпито много чудесных мозельских вин, особенно моим спутником — офицером, который больше других нуждался в бодрящем подкреплении.

Пауль сознался, что он уже скинул кафтан и сапоги, чтобы помочь нам вплавь добраться до берега, — задача, разве посильная ему одному.

Только мы малость пообсохли и насладились прощальным ужином, как меня уже стало разбирать нетерпение откланяться и продолжить прерванный путь. Любезный хозяин никак не хотел нас отпустить; он, напротив, настаивал на том, чтобы мы еще один день провели у них в Трарбахе, обещая нас свести на близлежащую возвышенность, откуда открывается прелестный вид на всю округу, прельщая меня еще и другими развлечениями и чудесами их домоводства. Но странное дело: когда человек вошел в колею домоседства, он никак не хочет отступать от оседлого образа жизни, но теперь мною всецело владела охота к перемене мест, которую я никак не мог ни приостановить, ни утихомирить.

Но вот беда: когда мы уже совсем собрались уезжать, гостеприимный хозяин преподнес нам два матраца, чему мы долго, но безуспешно сопротивлялись; но хозяин твердо решил обставить наше плавание возможным комфортом, что, однако, не слишком улыбалось его супруге, и резонно: матрацы были новехонькие и к тому же обиты красивым бархатом. Но так — увы! — бывает нередко: уважив настойчивую просьбу домохозяина, легко невольно огорчить его супругу.

В Кобленц мы прибыли благополучно, и я отчетливо помню, что к концу нашего пути увидел, быть может, прелестнейший ландшафт, когда-либо мне повстречавшийся. Когда мы подошли к мосту, перекинутому через Мозель, прекрасному сооружению из темного камня, это дивное зрелище открылось мне во всем своем мощном величии, а в долине, за широкими мостовыми арками, виднелись большие красавцы дома и высоко вздымающийся над мостом, весь в синей утренней дымке замок Эренбрейтштейн. Справа от моста, на правом же берегу реки, высится и стелется город Кобленц. Вся эта панорама замечательна незабываемой, но мимолетной красотой. Ты вышел, и панорама осталась позади. Мы тут же отправились в почтамт отослать те два матраца, ничуть не пострадавшие в пути, по адресу фирмы трарбахского негоцианта.

Для герцога Веймарского резервировали прекрасную резиденцию, она же стала и моим пристанищем в Кобленце. Армия медленно стекалась в этот город. Прислуга августейшего

генерала тоже сюда подоспела и не уставала говорить о буре на Мозеле. Мы же были счастливы, что все же избрали водный путь: жизнеопасная буря представлялась нам только кратким тягостным эпизодом сравнительно с затяжным сухопутным злоключением армии.

Прибыл наконец и сам герцог. К прусскому королю со всех сторон стекались его генералы. Что касается меня, то я неспешно бродил вдоль берега Рейна, мысленно перебирая диковинные события нескольких минувших недель.

Лафайет, французский генерал и глава влиятельной партии, еще недавно кумир его нации, пользовавшийся полным доверием своих солдат, восстал против верховной власти, представлявшей после полонения короля французское государство. Лафайет бежал, его армия, лишившаяся генерала и всех старших офицеров, растерянная, утратившая дисциплину, насчитывала не более двадцати трех тысяч человек.

В это же время вторгается в пределы Франции могущественный король с восьмидесятьютысячной армией, которому после недолгих колебаний сдаются два укрепленных города.

Появляется мало кому известный генерал — Дюмурье; никогда не командовавший целой армией, он умно и расчетливо занимает очень сильную позицию; ее удается прорвать, он занимает другую, но и ее окружают, так что мы, его противники, становимся между ним и Парижем.

Однако непрекращающиеся дожди опрокидывают все наши расчеты и создают грандиозное, запутанное положение. Наводящая страх армия союзников, стоявшая всего в шести часах ходу от Шалона и в десяти от Реймса, вдруг признает себя неспособной завладеть означенными двумя городами, предпринимает бесславную ретираду, отдает обе взятые нами крепости и теряет не менее трети своего личного состава, хотя число убитых и раненых не достигало и двух тысяч. И вот уже мы снова стоим на Рейне. Все эти события, вернее, все эти и впрямь чудеса, происходят на протяжении всего лишь шести недель, и Франция спасена от опасности, величайшей изо всех известных нам по анналам ее истории.

Представим себе только многотысячных участников этой катастрофы, которым перенесенные телесные и душевные страдания давали полное основание жаловаться на постигшую их судьбу, и нетрудно будет догадаться, что едва ли все эти бедствия протекали при полном молчании, сколько бы воинский долг нам таковое ни предписывал. Но чем переполнено сердце, то подчас изрекают и наши уста.

Так случилось и со мной во время парадного обеда, когда мне довелось сидеть возле старого заслуженного генерала. И я на этот раз обронил несколько слов о постигших нас бедствиях. Генерал хоть и очень учтиво, все же довольно решительно осадил меня: «Окажите мне великую честь, — сказал он, — посетить меня завтра утром; тогда мы с вами и поговорим обо всем дружески и вполне откровенно». Я поблагодарил за приглашение, но к нему так и не заглянул, дав себе обет впредь уже никогда не нарушать благоприличной игры в молчанку.

Во время водного моего путешествия и позднее, уже в Кобленце, мне удалось сделать несколько наблюдений, небесполезных для моих хроматических опытов; немало нового мне открылось и за занятиями эпоптическими цветовыми явлениями; и в этой связи я стал все более проникаться надеждой установить некую общность между рядом физических феноменов, противопоставляя таковые другим явлениям, с коими они состоят в более отдаленном, опосредствованном родстве.

Очень кстати мне опять попал в руки дневник камерьера Вагнера в дополнение к моим записям, к каковым я в последние дни совсем не притрагивался.

Полк герцога Веймарского наконец-то добрался до Кобленца и расположился в деревнях вокруг Нейвида. Надо сказать, что и тут августейший шеф полка продолжал проявлять отеческую заботу ко всем своим подчиненным: каждый, будь то офицер или рядовой, мог лично поверять герцогу свои нужды; и все, в чем только можно было ему помочь, не нарушая воинских уставов, совершалось незамедлительно. Лейтенант фон Флотов, прикомандированный к герцогу, будучи и сам человеком отзывчивым и рачительным, усердно содействовал его благодетельным начинаниям. Так неотложной потребности в сапогах и башмаках пошли навстречу, закупив большую партию кожи; и сыскавшиеся в войсках нашего герцога сапожники тут же начали кроить и тачать потребную обувь под присмотром местных более опытных мастеров. Позаботилось командование и о чистоте и приглядности наших воинов: приобретенный желтый мел придал должный вид мундирам, колетам и прочей амуниции, так что наши лейб-гусары приобрели прежний молодцеватый и подтянутый вид.

Мои занятия, равно как и непринужденные застольные и келейные беседы со штаб- и кабинет-секретарями нашего государя, сильно выиграли благодаря «Эренвейну», едва ли не лучшему из мозельских вин. Вино было подарено герцогу кобленцским магистратом; но наш государь почти всегда обедал и ужинал у других потентатов и князей церкви или же у его

прусского величества, почему «Эренвейн», с высочайшего разрешения, в основном употреблялся нами. Когда выпал случай похвалить это дивное вино одному из его дарителей, я высказал сожаление, что, ублажая нас, он тем самым поступается не одной бутылкой доброго вина. Нет, возразил он, ему нисколько не было жалко потчевать нас этим напитком, он даже охотно пополнит им наши запасы. О чем он действительно сожалеет, так это о бочках, потраченных на эмигрантов. Благодаря им, что и говорить, в город притекло немало денег, но сколько же они натворили здесь всевозможных бед; особенно осуждал он их поведение относительно князя-епископа: они прямо-таки узурпировали его права и, вопреки его воле, предприняли ряд шагов, столь же дерзких, сколь и безответственных.

Поэтому в наше чреватое несчетными бедствиями время епископ перебрался в Регенсбург. Признаться, я и сам в чудесный полуденный час прокрался вслед за ним к его замку, словно выросшему из-под земли за то время, как я последний раз побывал в этой местности.

Сказочно прекрасный, Регенсбург стоял высоко над городом, на левом берегу Рейна одинокой, самоновейшей руиной, не архитектурной, конечно, но тем более — политической. Признаюсь, я так и не набрался духу попросить кастеляна — он как раз разгуливал по парадному двору замка — о допуске к осмотру мною этого пышного эрмитажа князя-епископа. Как прелестен был близлежащий и более отдаленный живой ландшафт этого замка, отделявший его от города садами и малыми перелесками! А этот дивный вид на Рейн вверх по течению, плавному и умиротворяющему, но становящемуся все раздольнее и беспокойнее по мере приближения к окруженным скалами берегам города и крепости!

Желая попасть на другой берег, я направился к «летучему парому», как его здесь называют. Но там-то меня и задержали, вернее, там-то я и задержался, заглядевшись на переправу большого австрийского обоза, не так-то скоро пересекшего водную преграду. Здесь разгорелся ожесточенный спор между двумя унтер-офицерами, ярко выявивший самобытность двух представителей разнящихся друг от друга народностей.

Австрийцу был поручен надзор за переправой, строго вменявший ему в обязанность не допускать ничего, что могло бы задержать таковую, и прежде всего не позволять втереться в австрийскую колонну чужой повозке обозников. Прусский же унтер яро настаивал на том, чтобы в его особом случае было допущено исключение, так как в его телеге, помимо домашнего скарба, едут истомившиеся долгой дорогой его жена и ребенок.

Но австриец, ссылаясь на инструкцию, решительно отклонил его просьбу. Пруссак ярился, австриец хранил полнейшую неприступность и никак не соглашался потерпеть бреши в доверенной ему монолитно сомкнутой колонне. Пруссак тщетно пытался обнаружить таковую. Наконец напористый малый схватился за эфес своей сабли и вызвал на дуэль неуступчивого супостата, грубой бранью и угрозами пытаясь принудить его пойти с ним в ближайший проулок и там разрешить затянувшуюся ссору. Но рассудительный австриец, храня полнейшее спокойствие и отлично сознавая свою правоту, и не думал поддаваться угрозам пруссака и по-прежнему неукоснительно следил за порядком.

Было бы неплохо, подумал я, если бы художник-жанрист запечатлел эту сцену: уж очень несхожи были эти двое как по духовному, так и по внешнему обличию; спокойный австриец был коренастым, сильным молодцом, а свирепый пруссак (под конец он и впрямь рассвирепел) — длинным, хлипким забиякой.

Время, отпущенное мною на прогулку, отчасти уже вышло, а я, устрашенный возможностью стать жертвой таких же промедлений и на возвратном пути, потерял всякую охоту посетить столь любимую мною долину, вид которой пробудил бы во мне только чувство горестной утраты и бесплодной тоски по былым, безвозвратно утраченным временам. И все же я еще долго простоял, глядя на противоположный берег, с благодарностью припоминая былые безмятежные годы посреди непрерывно меняющихся событий новейшего времени.

Дело в том, что мне случайно стало известно решение нашего генералитета: перенести войну на правый берег Рейна. Полк герцога Веймарского уже готовился к переправе, а вслед за ним должен был сбираться в поход и сам герцог с его многолюдной свитой. Что до меня, то я не ждал ничего доброго от возобновления военных действий; бежать отсюда стало моим страстным желанием. Чувство, овладевшее мною, я назвал бы прямо противоположным чувству тоски по родине, ведь меня влекло в необъятную ширь, а не в тесный круг привычного обихода. Я стоял на берегу, а предо мною стлалась водная гладь чудесной реки. Она текла навстречу живописным ее низовьям мирно и величаво, во всю ширь, здесь обретенную ее руслом. Текла к давним друзьям, с которыми меня связывала нерушимая сердечная приязнь. Мне неотложно хотелось спастись на груди надежного друга от чуждого мне мира вражды и грубого насилья. Испросив себе отпуск, я спешно нанял лодку до Дюссельдорфа, куда я просил моих благожелателей доставить мой шез, как только он доберется до Кобленца.

Когда я со всеми моими пожитками водворился наконец, в нашем суденышке и мы уже плыли вниз по Рейну вместе с моим верным Паулем и еще с одним пассажиром, подрядившимся возместить свой даровой проплыв в качестве второго, подсобного, гребца, я почел себя счастливейшим из смертных, навечно покончившим с житейскими напастями.

И все же кой-какие неприятные приключения мне еще предстояли. Чуть ли не в самом начале плавания нам пришлось убедиться, что наша лодка дала основательную течь: иначе бы лодочник не стал из нее так усердно и часто выкачивать воду. Тут мы только осознали, что при столь поспешных сборах мы начисто позабыли об одном обстоятельстве, впрочем достаточно известном, а именно о том, что лодочники, пускаясь в относительно длительный проплыв от Кобленца до Дюссельдорфа, предпочитают его совершать в старой лодке, чтобы там продать ее на подтопку; с этой-то двойною выручкой в кармане владелец утлого суденышка обычно налегке и возвращается восвояси.

Но покуда мы, ничтоже сумняшеся, продолжали наше плавание, чему немало благоприятствовала звездная и очень прохладная ночь, наш подсобный гребец вдруг решительно потребовал, чтобы его высадили на берег. И тут между ним и лодочником завязался упорный, а впрочем, вполне бескорыстный спор касательно того, на каком месте пешеходу выгоднее покинуть лодку.

Тем удивительнее, что эта яростная дискуссия, где каждый остался при своем мнении, кончилась тем, что наш лодочник сорвался в воду, и если не потонул, то только благодаря дружно оказанной ему помощи. Насквозь промокший и окоченевший в эту светлую, леденящую ночь, он слезно просил дозволить ему заехать в Бонн, чтобы там согреться и пообсохнуть. Пауль пошел с ним в близлежащую харчевню, я же предпочел провести ночь под открытым небом и велел соорудить мне постель в лодке из тюков, дорожных мешков и портфелей. Великая вещь привычка: шесть недель я почти всегда дневал и ночевал под открытым небом, и вот дошло до того, что я уже не мог без содрогания думать о потолке и о стенах. Но на сей раз мне не повезло, что, впрочем, можно было предвидеть: лодку хоть и выволокли на берег, но не настолько, чтобы вода не просачивалась через течь, и притом достаточно обильно.

Очнувшись от глубокого сна, я почувствовал себя освеженным, но, пожалуй, уже чересчур. Вода просочилась в мою постель: промок и я, и все мои пожитки. Пришлось встать, отыскать пивнушку для водников и там, на глазах у жующей

табак и смачно лакающей липкий глинтвейн публики, по мере возможности как-то пообсушиться. Ранние утренние часы были упущены. Но мы тем усерднее налегли на весла, чтобы возместить невольную задержку.

НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Пытаясь восстановить силою воображения мое плаванье вниз по Рейну, мне никак не дается точно воссоздать все то, что во мне тогда происходило. Безмятежно-зеркальная водная гладь, чувство, что я без помех скольжу по ней, позволяло мне смотреть на недавнее прошлое как на дурной сон, от которого я вот только что очнулся. Я весь отдался светлым надеждам на радостную встречу с давними друзьями.

Но, собираясь продолжить мой рассказ, я должен буду прибегнуть к совсем другому способу изложения, чем тот, которого я придерживался в предыдущих записях. Ибо только там, где на наших глазах изо дня в день вершатся великие события, где мы заодно с тысячами нам подобных страдаем, испытываем страх и, превозмогая его, продолжаем робко надеяться, настоящее обретает решающее значение и шаг за шагом нами пересказанное воскрешает минувшее и указует на будущее.

Другое дело — событие, свершающееся в тесном дружеском кругу. Оно может быть понятно лишь как нравственное следствие целого ряда изъявлений духовной жизни. Здесь рефлексия более чем уместна. Ибо отдельно взятый момент сам себя не разъясняет. Ему служат толмачами воспоминания о прошлом, ранее содеянном, а также позднейшие его высказывания.

Я всегда жил скорее бессознательно, изо дня в день, какие бы дни ни набегали, и чувствовал себя при этом, особенно в последние годы, совсем не плохо; в полном согласии со сказанным, я также никогда заранее не обдумывал предстоящей беседы с незнакомым лицом или того, что сам собираюсь сказать, впервые посещая какое-либо общество, во всем полагаясь на вразумляющую силу непосредственных впечатлений. Выгода такой привычки очевидна: не приходится отказываться от предвзятой идеи, нет нужды разрушать загодя сложившегося образа и с неудовольствием заменять его другим, более соответствующим действительности. Но в иных случаях сказывались и отрицательные стороны этой моей привычки: обходясь без предварительного обдумывания сложившейся обстановки, действуя экспромтом, так сказать, на ощупь, я подчас довольно долго блуждал в потемках, не нападая на простейшее решение вопроса.

По той же причине я никогда не заботился и о том, как действует на людей личное общение со мной и мои преходящие

умонастроения, и потом, к величайшему моему удивлению, обнаруживал, что в ком-то вызвал к себе приязнь или неприязнь, а то зараз и то и другое чувства.

Можно, конечно, не одобряя и не порицая такого поведения, попросту счесть его самобытной чертой характера, но нельзя не признать, что как раз в данном случае такая самобытность подчас приводила к странным и не всегда утешительным последствиям.

Я много лет не встречался с моими друзьями. Они оставались верны раз избранному пути; тогда как мне выпал жребий пройти через целый ряд искушений и испытаний и множество разнородных видов деятельности, так что я, ни в чем не изменяя своей сути, все же стал совсем другим человеком, давним друзьям моим ничуть не знакомым.

Не так-то легко, даже и в зрелые годы, когда обретаешь более свободный взгляд на пройденный жизненный путь, давать точный отчет о каждом повороте своего развития, а он представляется то шагом вперед, то, напротив, попятным шагом, тем более когда ты убежден, что по милости господней любой шаг на предназначенной тебе мете служит человеку на пользу и преуспеяние. И все же, невзирая на трудности, я попытаюсь, в угоду моим друзьям, кое-что разъяснить хотя бы только намеками.

Нравственный человек может внушить к себе любовь и симпатию лишь в том случае, если в нем замечаешь некое томление духа. Таковое вмещает в себе обладание и жажду — обладание собственным нежным сердцем и жажду найти такое же сердце в другом. Первое притягивает к нам, второму мы сами отдаемся.

Томление, во мне заложенное, которому я в мои ранние годы, быть может, чрезмерно предавался, а потом старался в себе побороть, зрелому мужу было уже не к лицу и нисколько его не удовлетворяло, почему я и принял решение хотя бы раз полностью насытиться тем, что было моей мечтою. Целью моей тайной тоски, гложущей мою душу, была Италия, образ и подобие которой передо мною тщетно витали столько лет, покуда я не собрался с духом и не отважился соприкоснуться с ее зримой явью. В эту дивную страну мои друзья охотно меня сопровождали и туда и обратно, хотя бы только мысленно. Оставалось только пожелать, чтобы они и впрямь разделили со мной мое длительное пребывание в этой стране, а потом проводили бы меня домой, на родину. Сколько насущных проблем тем самым тогда бы разрешилось!

В Италии я постепенно отрешался от мелкотравчатых представлений, от беспочвенной мечтательности. Место тоски по

стране искусств заступила тоска по самому искусству; я узрел великое искусство и теперь хотел проникнуть в его тайны.

Изучение пластических искусств, а также великих писателей древности служит нам надежным подспорьем, более того — примиряет нас с нами же самими. Насыщая нашу душу великими впечатлениями и помыслами, искусство овладевает всеми нашими высокими стремлениями, которые казались нам осуществимыми только вовне, оно же, искусство, осуществляет их в тиши нашей душевной глуби. Потребность в общении при этом заметно убывает. То, в чем нуждается живописец, ваятель, зодчий, становится неотложной потребностью также и любителя, и он работает в одиночестве, ради наслаждений, коими поделиться с другими ему почти никогда не удается.

В это же самое время меня отобщила от друзей еще одна отрасль моих занятий, а именно: мое решительное обращение к природе, к чему меня влек неизъяснимым образом заложенный в меня неотъемлемый инстинкт. Тут я не повстречался ни с мастерами, ни с подмастерьями, тут я один должен был постоять за все и за всех. В безлюдных лесах и садах, во мраке темных камер я остался бы в полном одиночестве, если б не счастливые домашние обстоятельства, внесшие в ту эпоху вынужденного затворничества согревающее тепло и услаждающую нежность. «Римские элегии» и «Венецианские эпиграммы» создавались именно в эту пору.

Тогда же мне довелось впервые ощутить приближение нескончаемых войн. Я был вызван моим государем, с тем чтобы при нем состоять в намечавшейся Силезской кампании, так, впрочем, и не состоявшейся благодаря Рейхенбахскому конгрессу, что привело к моему краткому пребыванию в этой прекрасной стране, обогатившей мой жизненный опыт и настроившей меня на более возвышенный лад, что мне, однако, отнюдь не мешало легкомысленно предаваться веселым утехам в то самое время, когда происшедший во Франции злосчастный государственный переворот, все более расширяясь, призывал каждого, какими бы мечтами и надеждами он ни тешился, помнить о тревожных обстоятельствах, сложившихся в Европе и всем нам грозивших жестокими испытаниями.

Долг заставил меня сопровождать моего государя сначала в сомнительных, а потом и трагически обернувшихся событиях, потребовавших от всех немалого мужества и чрезвычайной выдержки. Я рискнул ознакомить моих читателей с ужасами, выпавшими на нашу долю, только в весьма смягченном пересказе; иначе все то нежное и задушевное, что еще теплилось в наших сердцах, могло бы полностью порушиться и испариться.

Если подвести итог всему, что здесь было сказано, то мое душевное настроение, бегло запечатленное на последующих страницах, быть может, не покажется столь уж загадочным, чего бы я никак не хотел — уже потому, что мне лишь с трудом удалось побороть искушение заново изложить мои былые небрежные записи с учетом моих позднейших взглядов и убеждений.

Пемпельфорт, ноябрь 1792 года.

Уже стемнело, когда я приземлился в Дюссельдорфе и тотчас же выехал в Пемпельфорт с зажженными фонарями. После радостного переполоха, внесенного моим неожиданным появлением, я был принят хозяевами как нельзя лучше и сердечнее. Торопливые расспросы и отрывисто-краткие ответы, какими обычно обмениваются друзья при первой встрече после долгого перерыва, поглотили немалую часть наступившей ночи.

Следующий день прошел в рассказах, вопросах, ответах, и я быстро свыкся с новым местом. Неудавшийся поход давал обильную пищу для разговоров; никто не представлял себе столь печального его исхода. И никто не умел выразить, как страшно подействовало на людей роковое молчание, продолжавшееся без малого месяц, — никаких известий, что усиливало ощущение неопределенности. Казалось, земля поглотила войско союзников — они не подавали о себе вестей; вглядываясь в жуткую пустоту, все были мучимы страхом и теперь с ужасом ждали, что война перекинется в Нидерланды; было ясно, что под угрозой находится левый берег Рейна, а заодно и правый.

Беседы на моральные и литературные темы отвлекали нас от этих горестей, но мой реалистический взгляд на вещи не слишком радовал окружающих.

После революции, чтобы меньше думать обо всех этих диких событиях, я начал работать над одним странным произведением. В нем рассказывалось о путешествии семи очень непохожих друг на друга братьев, каждый из которых по-своему служит общему союзу, — вещь сказочная и фантастическая, запутанная, скрывающая цель и перспективу, притча о событиях нашей эпохи. От меня потребовали, чтобы я прочитал ее, я не заставил себя долго упрашивать, но очень скоро убедился, что она никому не нравится. Поэтому я бросил странствующее семейство в первой попавшейся гавани и больше об этой рукописи не вспоминал.

Друзья не могли сразу примириться с моим новым настроением; к чему только не прибегали они, чтобы вызвать в душе моей былые чувства: сунули мне в руки «Ифигению», чтобы я читал ее вслух по вечерам; из чтения ничего не вышло, кротость

чувств была в ту пору чужда мне, а слушать, как декламируют «Ифигению» другие, было мне не под силу. Пьесу отложили в сторону, но мне казалось, что они решили допекать меня пытками еще более изощренными. Принесли «Эдипа в Колоне», однако возвышенная святость его была невыносима моим чувствам, всецело обращенным к искусству, природе, миру, — чувствам, ожесточившимся в тяжелую кампанию; я не выдержал и сотни строк. Тут уж всем пришлось смириться с новым умонастроением друга, тем более что в разных темах для бесед недостатка не было.

Мы вспоминали разные превосходные сочинения старой немецкой словесности, но беседа никогда не заходила слишком глубоко, чтобы не затрагивать явных признаков различия во взглядах.

Если мне позволено будет включить сюда общее рассуждение, то нужно сказать, уже лет двадцать, как наступила замечательная пора, когда значительные личности объединялись и люди в одном сходились, хотя в остальном друг от друга отличались: каждый был высокого мнения о себе, но все старались относиться друг к другу почтительно и бережно.

Талант укреплял свое завоеванное достояние — всеобщее уважение; люди умели поддерживать и укреплять дружеские связи; преимущества, приобретенные таким образом, защищал уже не каждый в отдельности, но все взаимосогласное большинство. Само собой разумеется, что тут соприсутствовала известная преднамеренность; как все светские люди, они искусно выбирали друзей и знакомых, умели прощать друг другу странности, чувствительность одного поддерживалась чувствительностью другого, взаимное непонимание долго оставалось под спудом.

В этих условиях положение мое было любопытно: талант отводил мне почетное место в обществе, но мое страстное отношение ко всему, в чем я видел истину, провоцировало меня на резкости, когда мне казалось, что чьи-то устремления ложны. Поэтому я частенько ссорился с членами нашего кружка, потом мирился, на словах или на деле, но продолжал идти своим путем в высокомерной уверенности, что правда на моей стороне. Известную наивность вольтеровского Гурона я сохранил до зрелых лет, а потому меня в одно и то же время любили и не терпели.

Западная, чтобы не сказать французская, литература была как раз той сферой, где мы были менее скованы и более согласны друг с другом. Якоби шел своим путем, но он усваивал все существенное, а близость Нидерландов способствовала тому, что

не только как литератор, но и как личность он был вовлечен в упомянутый дружеский круг. Хорошо сложенный, с приятными чертами лица, он умел вести себя скромно, предупредительно и любезно и блистал в любом образованном обществе.

Удивительное время, которое ныне трудно себе даже представить. Вольтер разбил узы, сковывавшие человечество, умные люди стали сомневаться в том, что прежде считали высокодостойным. Фернейский философ силился ослабить, уменьшить влияние духовенства, прежде всего имея в виду Европу; де Пау, напротив, распространил дух завоеваний на отдаленные части света: ни за китайцами, ни за египтянами не признавал он того достоинства, какое приписывал им давний предрассудок. Каноник в Ксантеке, не столь удаленном от Дюссельдорфа, он поддерживал дружеские отношения с Якоби и еще со многими другими.

А потому упомянем еще только Гемстергейса: нелицеприятно преданный княгине Голицыной, он подолгу жил в Мюнстере. Гемстергейс, вместе с людьми, родственными ему по духу, стремился к кроткой умиротворенности, к идеальному миру души, склоняясь к платонически-религиозному умонастроению.

В таких фрагментарных воспоминаниях надлежит назвать и Дидро, страстного диалектика, который тоже любил гостить в Пемпельфорте, где он откровенно отстаивал свои парадоксы.

Взгляды Руссо на природу тоже не были чужды этому кругу; впрочем, члены его никого не исключали, как не изгоняли и меня, хотя часто только терпели.

О том, как влияла на меня в юные годы литература других стран, уже говорилось не раз. Я мог воспользоваться чужим для своей надобности, но внутренне его не усваивал, а потому не способен был и дискутировать о нем. Столь же странно обстояло дело и с моим собственным творчеством: оно шло рука об руку с моим жизненным развитием, а поскольку это развитие оставалось тайной даже для самых близких друзей, то сжиться с моими новыми произведениями им удавалось нечасто, потому что они всегда ожидали чего-либо похожего на ранее мною написанное.

С «Семью братьями» я пришелся не ко двору оттого, что они ничем не напоминали свою сестру «Ифигению». Я заметил, что раню друзей и «Великим Кофтой», комедией давно напечатанной, хотя речь о ней не заходила, да и я ее не заводил. Но кто не согласится, что писателю, который не смеет читать вслух свои новейшие сочинения, бывает не по себе, так же как композитору, которого не просят играть его новейших опусов.

То же самое и с моими наблюдениями над природой; моя страстная преданность этим занятиям оставалась непонятой,

никто не замечал, что она проистекает из глубин моего существа, мои стремления большинству казались ошибкой, капризом; по их мнению, я мог бы делать что-нибудь поинтереснее, предоставляя моему дарованию идти прежним путем. Они считали себя вправе думать именно так, потому что я не признавал их образа мыслей и в ряде случаев придерживался прямо противоположных. Трудно себе представить человека более одинокого, чем я в ту эпоху, да и много позднее. Я был приверженцем гилозоизма (или как еще угодно его именовать) и признавал всю святость и достоинство за глубинами этого учения. Поэтому я был невосприимчив, нетерпим даже, к такому образу мыслей, когда в качестве символа веры выставляется мертвая, лишь впоследствии приводимая в движение и возбуждаемая (все равно каким началом) материя. От внимания моего не ускользнул тот момент в Кантовом учении о природе, где утверждается, что силы притяжения и отталкивания принадлежат к самой сущности материи и не могут быть отделены от нее; благодаря этому передо мною раскрылась извечная полярность всего сущего, проникающая и одушевляющая великое многообразие явлений природы.

Уже и прежде, когда княгиня Голицына посетила Веймар вместе с Фюрстенбергом и Гемстергейсом, я излагал свои взгляды, но был ими поставлен на место и, словно богохульник, должен был замолчать.

Если люди замыкаются в своем кругу, это нельзя ставить им в вину; а мои друзья в Пемпельфорте поступали именно так. «Метаморфозы растений», напечатанной за год до того, они почти не заметили, а когда я, со всею последовательностью, излагал столь привычные для меня идеи морфологии, добиваясь, как мне казалось, предельной убедительности, я с сожалением видел, что умами моих слушателей безраздельно владело закостеневшее представление: не может возникнуть ничего, кроме того, что уже есть. В конце концов мне пришлось заново выслушать, что все живое происходит из яйца, и мне оставалось лишь горько пошутить, напомнив им вечный вопрос: что было раньше — курица или яйцо? Однако преформизм казался им столь же ясным, сколь утешительным созерцание природы в духе Бонне.

О моих «Оптических работах» они что-то прослышали, и я не заставил долго себя просить, а решил развлечь собравшихся некоторыми феноменами; мне было нетрудно ознакомить их с новыми опытами, ибо присутствовавшие, несмотря на свою образованность, затвердили мысль о составной природе света и все живое, радующее глаз, сводили к этой мертвой гипотезе.

Впрочем, какое-то время я мирился с подобными

возражениями, так как еще не бывало, чтобы я сообщал что-либо без прямой пользы для себя; обычно, пока я говорил, я постигал прежде мне неизвестное; в потоке речи я едва ли не всегда открывал нечто новое и для себя.

Правда, мне приходилось излагать материал лишь дидактически и догматически, поскольку подлинного дара диалектической беседы у меня не было. Зато была дурная привычка, в которой я должен покаяться: когда обыденный разговор, в котором высказывались лишь ограниченные или личные взгляды, наскучивал мне, я имел обыкновение возмущать течение узкого спора резкими, доведенными до крайности парадоксами. Обычно это лишь обижало и сердило присутствующих. Потому что нередко мне приходилось играть роль злого духа, чтобы добиться своего, людям ведь хотелось быть добрыми и добрым же видеть меня; они не допускали парадоксов, не принимали их всерьез как неосновательные, а шуткой не могли считать из-за их резкости. В конце концов меня прозвали лицемером навыворот и вскоре примирились со мною. Однако многих моя злость отпугнула, а некоторых обратила в моих врагов.

Но стоило мне начать рассказывать об Италии, как злые духи исчезали, словно по мановению волшебной палочки. В Италию я отправился без подготовки и без раздумий, отчего со мною и случались всякие приключения. Величие и прелесть этой страны глубоко врезались мне в память; образ, краски, дух ландшафта, осиянного благосклоннейшим небом, все еще стояли у меня перед глазами. Слабые попытки зарисовать некоторые пейзажи обострили мою память, я эти пейзажи описывал, словно и сейчас видел их, не забыл я и о людях, эти пейзажи оживлявших; все были довольны живо воссозданными мною картинами, порою даже восхищены.

Дабы изобразить приятность пребывания в Пемпельфорте, надо хорошо представить себе, где все это происходило. Просторный дом на открытом месте, в окружении огромных садов, в которых поддерживался образцовый порядок; летом это рай, зимой — приятнейшее местопребывание. Здесь каждый луч солнца доставлял наслаждение. Вечерами или в плохую погоду мы оставались в больших красивых комнатах: обставленные удобно, хотя и без роскоши, они служили прекрасным фоном для интеллектуальных разговоров. Большая столовая, удобная, светлая, вмещающая многочисленное семейство и постоянно гостивших друзей, длинный стол, уставленный разными яствами, за этим столом сидел хозяин дома, энергичный, разговорчивый, сестры — благожелательные, предупредительные, сын —

серьезный, подающий надежды юноша, дочь — благовоспитанная, приятная, вызывала в памяти образ покойной матери и картины былых дней во Франкфурте, лет эдак двадцать тому назад. Гейнзе считался членом семьи, он не мешкал с ответом на любую шутку, случалось, мы весь вечер покатывались со смеху.

Немногие часы, когда я оставался наедине с собою в этом гостеприимнейшем из домов, я посвящал несколько странной работе. Во время похода, помимо дневника, который я вел, я еще записывал в стихотворной форме распоряжения по армии, комичные ordres du jour[6]. Теперь я решил просмотреть и отредактировать их. Но вскоре понял, что видел и оценивал многое абсолютно неправильно, близоруко и высокомерно; поскольку же обычно строже всего относишься к недавним заблуждениям и поскольку оставлять такие бумаги на волю случая мне казалось делом рискованным, то я поспешил уничтожить всю тетрадь в ярком пламени пылавшего в камине каменного угля. Огорчает это меня сейчас лишь потому, что она очень пригодилась бы мне для уяснения хода событий и последовательности моих собственных размышлений.

В неподалеку расположенном Дюссельдорфе я усердно навещал друзей, которые все до единого принадлежали к пемпельфортскому кружку. Обычно мы встречались в картинной галерее. Тут чувствовалось предпочтение, отдаваемое итальянской школе, к нидерландской же все были несправедливы до последней степени. Конечно, возвышенный дух итальянских художников увлекал благородные души. Однажды мы долго пробыли в зале Рубенса и наиболее выдающихся нидерландцев; когда мы выходили, напротив нас висело «Вознесение» Гвидо. Кто-то восторженно воскликнул: «Мы словно перешли из кабака в гостиную!» Я был очень доволен, что в таком великолепии являют себя и столь страстный восторг вызывают живописцы, которыми я недавно восхищался по ту сторону Альп, но считал нужным получше ознакомиться и с нидерландцами, тем паче, что их редкие достоинства тут представали перед нами во всей своей несомненности: то, что я видел, осталось в памяти до конца моих дней.

Но еще больше поразило меня то, что в высших кругах до известной степени распространилось вольнолюбие и демократизм: люди не понимали, что́ им придется утратить, прежде чем они обретут взамен нечто довольно неопределенное. Бюсты Лафайета и Мирабо, изваянные Гудоном, очень похожие и естественные, почитались здесь как боги: в Лафайете чтили доблести рыцарские и гражданские, в Мирабо — силу духа и ораторский дар. Уже тогда немецкий дух странно заколебался:

некоторые, побывав в Париже, слышали речи сих доблестных мужей, своими глазами видели их деяния и — несчастная немецкая черта — вздумали им подражать; и это как раз в то время, когда беспокойство за судьбу левого берега Рейна переходило в обоснованный страх.

Час тяжкого испытания! Эмигранты заполонили Дюссельдорф, прибыли сюда даже братья короля. Все спешили их увидать, я встретил их в картинной галерее и вспомнил разговоры о том, как они, вымокшие до нитки, выезжали из Глорье. Явились также господин фон Гримм и госпожа де Бёй. Город был переполнен, их приютил у себя аптекарь: спальней им служил естественнонаучный кабинет, обезьяны, попугаи и прочие твари внимали утренним грезам достойнейшей дамы, раковины и кораллы мешали ей разместить предметы туалета; не успели мы поразить Францию бедствиями постоя, как они уже перекочевали к нам.

Госпожа фон Коуденховен, прекрасная, умная женщина, некогда украшение майнцского двора, тоже бежала сюда. С немецкой стороны подоспели, чтобы на месте ознакомиться с обстоятельствами, господин фон Дом с супругой.

Франкфурт оставался еще в руках французов, войска маневрировали между рекою Лан и Таунусом; точные сведения и ложные слухи каждый день сменяли друг друга, оживляя разговоры, давая повод для острот, — впрочем, радости от этого было мало, ибо интересы и мнения то и дело сталкивались. Я не мог серьезно отнестись к ситуации неясной, сомнительной, зависевшей от ряда случайностей, и своими парадоксальными шутками то веселил, то удручал общество.

Помнится, однажды за ужином добром помянули граждан Франкфурта: они-де вели себя достойно и мужественно в отношении Кюстина, тем самым весьма выгодно отличаясь от жителей Майнца, которые вели себя, да и сейчас ведут, непристойно. Госпожа фон Коуденховен воскликнула с восторгом, очень ее красившим: «Чего бы я только не отдала, чтобы быть гражданкой Франкфурта!» Я отвечал: «Нет ничего проще, я знаю верный способ, но сохраню его в тайне». Все стали настаивать на том, чтобы я открыл секрет, уговаривали меня долго, наконец я сказал: «Уважаемой даме достаточно выйти за меня замуж, чтобы мгновенно преобразиться в жительницу Франкфурта!» Оглушительный хохот!

Что мы только не обсуждали! Как-то раз мы заговорили о злосчастной кампании, о канонаде при Вальми, и тут господин фон Гримм заверил меня, что за обедом у короля шла речь о моей непонятной поездке на передовую, можно сказать, в самое пекло,

и все пришли к выводу, что удивляться тут нечего: никогда не знаешь, что выкинет такой чудак.

Участником наших полусатурналий был некий опытный и умный врач; я в своей заносчивости и не думал, что скоро и мне понадобится его помощь. Поэтому, к моему неудовольствию, он громко рассмеялся, застав меня в постели: страшный приступ ревматизма, следствие сильной простуды, почти лишил меня способности двигаться. Ученик тайного советника Гофмана, чья энергичная, хотя и несколько чудаческая медицинская деятельность была известна как в Майнце и при дворе курфюрста, так и южнее, в прирейнской области, врач немедленно прибег к камфаре, которую он считал едва ли не панацеей. Камфара применялась как наружное средство, для чего ее насыпали на промокательную бумагу, натертую мелом, и внутрь ее тоже давали в малых дозах. Так или иначе, а спустя несколько дней я был на ногах.

Скука болезненного состояния заставила меня о многом поразмыслить; от постельного режима я быстро ослаб, и мое положение показалось мне сомнительным: французы далеко продвинулись в Нидерландах, слухи еще преувеличивали их продвижение, все в один голос твердили о непрерывном прибытии новых беженцев.

Мое пребывание в Пемпельфорте длилось уже достаточно долго; не будь хозяева столь любезны и гостеприимны, всякий уже решил бы, что он им в тягость. Впрочем, я задержался так долго по чистой случайности: со дня на день и с часу на час я ждал свой богемский экипаж, бросать его мне не хотелось, тем более что он уже прибыл из Трира в Кобленц; оставалось переправить его сюда. Но его все не было, и это усиливало овладевшее мною в последние дни нетерпение. Якоби предоставил мне свою удобную, но тяжелую из-за обилия железа коляску. Все устремлялись теперь в Вестфалию, там хотели обосноваться и братья короля.

Итак, я уехал с ощущением необычайного внутреннего разлада. Симпатии удерживали меня в этом кругу друзей, обеспокоенном последними событиями, а я оставлял этих благороднейших людей в заботах и смятении, сам же в ужасную непогоду и распутицу пускался в дикий, пустынный мир, влекомый неудержимым потоком беженцев, чувствуя себя беженцем.

И все же в перспективе у меня была приятнейшая встреча, ибо, будучи так близко от Мюнстера, я не мог не завернуть туда, чтобы повидать княгиню Голицыну.

Дуисбург, ноябрь.

Итак, по прошествии четырех недель я вновь оказался если не на том же месте, где нас впервые постигло несчастье, и за много миль от него, но все в том же обществе, в той же толпе эмигрантов, которые, на сей раз уже окончательно изгнанные из отечества, возвращались в Германию, беспомощные и растерянные.

Припоздав к обеду в гостинице, я сидел в конце длинного стола; хозяин и хозяйка, уже успевшие выразить мне (как немцу) свою антипатию к французам, очень сожалели, что лучшие места заняты непрошеными гостями. При этом они отметили, что, несмотря на все унижения, горести, на ожидавшую их нищету, среди них по-прежнему царят нескромность и честолюбие.

Окинув взглядом стол, я увидел во главе его старого, невысокого благообразного человека, сидевшего смирно и тихо. Очевидно, он принадлежал к аристократии, ибо двое его соседей оказывали ему всевозможные знаки внимания, выбирали для него лучшие куски, разрезали их, можно сказать, подносили к его рту. Я очень скоро заметил, что дряхлый старик почти уже бесчувствен, — печальный автомат, влачащий по миру тень былой благополучной и почтенной жизни, — в то время как двое преданных ему людей стараются воскресить в его сознании сны минувшего.

Я рассмотрел всех прочих: на лицах солдат, комиссаров, искателей приключений, казалось, написана их горькая судьба. Все сидят молча, каждый со своей заботой, перед каждым — беда без конца и без края.

Мы уже кончали обедать, когда в залу вошел довольно красивый юноша, впрочем, ничем особо не примечательный. В нем сразу можно было узнать пешего странника. Он сел напротив меня, попросил у хозяина прибор и молча ел то, что приносили из еще оставшегося на кухне. После обеда я подошел к хозяину, и он шепнул мне на ухо: «Этому молодому человеку обед обойдется недорого». Я ничего не понял, но когда юноша спросил, сколько он должен, хозяин отвечал: «Один талер». Тот, казалось, был смущен и сказал, что это, должно быть, ошибка, он-де не только хорошо пообедал, но и выпил штоф вина, вряд ли это может быть так дешево. Хозяин вполне серьезно ему ответил: как правило, он сам считает, а гости платят, сколько он спрашивает. Юноша расплатился не без удивления и скромно ушел. Хозяин тут же объяснил мне загадку: «Он — первый из этого проклятого сброда, кто ел черный хлеб, надо же было его за это наградить».

В Дуисбурге у меня был один-единственный старый знакомый, которого я поспешил навестить. Профессор Плессинг.

С ним у меня в свое время завязались какие-то странные сентиментально-романические отношения. Расскажу об этом подробнее, ибо благодаря им мы позабыли в этот вечер о беспокойной поре и перенеслись в мирные времена.

«Вертер», выйдя в свет, отнюдь не вызвал в Германии той болезненной, лихорадочной реакции, которую многие ставили ему в вину, он только обнаружил зло, притаившееся в умах тогдашнего юношества. В счастливые мирные времена на немецкой почве, то есть в пределах распространения немецкого языка, развилась и расцвела литературно-эстетическая культура; поскольку то была культура чисто внутренняя, к ней вскоре присоседилась сентиментальность, в истоках и развитии которой невозможно было не признать влияние Йорика Стерна. Дух его не витал над немцами, но чувства передавались тем непосредственнее. Возник своего рода изнеженно-страстный аскетизм, а поскольку иронический юмор британца не был свойствен немцам, то такой аскетизм неизбежно выродился в самоистязание. Сам я постарался избавиться от этого зла и, согласно своему убеждению, пытался быть полезен другим, но последнего достигнуть было труднее, чем я полагал, ибо это, собственно, значило, помогать каждому в борьбе с самим собою, а тут ведь уже не могло быть и речи о том, что предоставляет в наше распоряжение внешний мир, будь то познание, наставление, профессия или поощрение.

Мы вынуждены умолчать о разных направлениях деятельности, которые оказывали влияние в ту эпоху, но для наших целей необходимо более подробно остановиться на одном важном, вполне самостоятельном устремлении тех лет.

Физиогномика Лафатера придала новый поворот нравственно-общественным интересам. Лафатер знал, что владеет утонченнейшей способностью толковать впечатления, которые фигура и лицо человека производят на других, хотя сам объект его толкования и не отдает себе в этом отчета. А поскольку Лафатер был не создан для методической разработки абстрактного понятия, то он и держался конкретности, а следовательно, индивида.

Талантливый молодой художник, и прежде всего хороший портретист, Генрих Липс примкнул к нему: ни дома, ни в путешествии по Рейну он ни на шаг не отставал от своего покровителя. А Лафатер, отчасти испытывая неутолимую жажду безграничного познания, отчасти желая приобщить к своему будущему труду как можно больше значительных людей своего времени, вознамерился портретировать всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся талантом или сословным положенном,

характером или родом деятельности.

Таким образом приобрели известность многие индивиды; быть принятым в столь благородный круг — это кое-что значило; характерные свойства каждого подчеркивались самим мастером толкования, люди как бы становились ближе друг к другу, но самое странное, что сумели заявить о своей личной значительности лица, которые до той поры ничем не отличались среди остальных, включенных и вплетенных в бюргерскую и государственную жизнь человеческих дел.

Воздействие Лафатера оказалось сильнее, чем можно было предположить; каждый счел себя вправе воображать, что он существо особенное, неповторимое, завершенное. Укрепившись в своей исключительности, он уже считал для себя подобающим включать в комплекс своего драгоценного существования всевозможные чудачества, странности, нелепости. Это удавалось тем легче, что метод Лафатера сводился к рассуждениям об особой природе индивида, а о разуме, царящем над всею природой, и речи не заходило. Стихии религиозности, в которой купался Лафатер, тоже было недостаточно, чтобы умерить ширившуюся самовлюбленность, более того — у верующих даже развивалась на этой почве особенная духовная гордыня, заносчивость, превышавшая заурядную людскую гордость.

Впрочем, следствием той эпохи было и взаимное уважение индивидов. Именитых старцев почитали, те же, кто не знал их лично, почитали их портреты; и стоило молодому человеку хотя бы несколько выдвинуться, как у людей тотчас возникало желание познакомиться с ним, а если это было невозможно, то почитатели довольствовались портретом; тщательно, точно и умело сделанные силуэты пользовались всеобщим успехом. Каждый приобрел навыки в этом искусстве, и любой приезжий был запечатлен на стене в вечерний час; пантографы всегда были в работе.

Знание человека, человеколюбие — вот что обещал нам лафатеровский метод: участливость к судьбам друг друга возросла, но знание и познание душ от нее отставали, — впрочем, к знанию и к любви многие стремились весьма энергично; деятельность одного необычайно одаренного юного государя способствовала этому стремлению, поощряла и распространяла его с помощью своего разумного и наделенного живостью ума окружения. Рассказ этот был бы интересен, но, с другой стороны, пусть лучше остается в таинственном мраке начало того, что уже достигнуто. Возможно, котиледоны тогдашнего посева выглядели странно, однако об урожае, долю которого с радостью приняло и наше отечество, и другие страны, всегда, даже в самые

отдаленные времена, будут вспоминать с благодарностью.

Кто удержит в мыслях только что сказанное и проникнется им, не сочтет ни маловероятным, ни нелепым нижеследующее приключение, которое с удовольствием освежили в памяти оба его участника за вечерней трапезой.

Среди множества письменных прошений и визитов, которыми одолевали меня в середине 1776 года, я получил письмо из Вернигероде, подписанное: Плессинг; не столько письмо, сколько целую тетрадь, самый поразительный образчик душевного самоистязания, который когда-либо попадался мне на глаза. Можно было определить по письму, что автор его — человек молодой, хорошо образованный, однако вся эта ученость не принесла ему морального удовлетворения. Почерк был разборчивый, слог гибкий и плавный, и хотя по изложению чувствовалось, что молодой человек готовился стать проповедником, все было написано свежо и искренне, так что отказать ему в участии было немыслимо. Однако, пытаясь живее проявить это участие и лучше разобраться в душевном состоянии несчастного, я вместо долготерпения обнаруживал своенравие, вместо упорства — упрямство, вместо страстного стремления — отталкивающую замкнутость. Тогда — вполне в духе времени — во мне пробудилось желание встретиться с этим человеком; однако звать его к себе я не счел нужным. В силу некоторых обстоятельств я уже взвалил на себя тяжкую обузу — нескольких юношей, которые, вместо того чтобы идти вслед за мною к высшей и более чистой культуре, упорно стояли на своем, при этом ничего хорошего не достигая, мне же они мешали продвигаться вперед. Посему я до поры до времени ничего не предпринимал, ожидая, что жизнь когда-нибудь сведет нас. Вскоре пришло второе письмо, покороче, но написанное еще живее и энергичнее; в нем автор настаивал на скорейшем ответе и объяснении, заклиная меня не отказывать ему ни в том, ни в другом.

Но и эта вторичная атака не вывела меня из равновесия, второе письмо тронуло меня ничуть не более первого, и только барственная привычка не оставлять людей моего возраста без помощи в их душевных и сердечных муках не позволила мне окончательно забыть о нем.

Веймарское общество, окружавшее достойного молодого герцога, не любило расставаний: его занятия и затеи, шутки, радости и страдания — все там было сообща. В конце ноября в окрестностях Эйзенаха устраивалась охота на кабанов, устраивалась поневоле, в силу частых жалоб населения. Я, в то время гость в этих краях, тоже должен был принять в ней участие,

но я испросил дозволения позже присоединиться к обществу, дав сначала небольшой крюк.

У меня имелся давно задуманный тайный план этой поездки. Я не раз слышал, причем не только от деловых людей, но и просто от жителей Веймара, кому дорога была судьба герцогства, настоятельное пожелание, чтобы вновь была начата разработка рудников в Ильменау. Горное дело я представлял себе лишь в самых общих чертах, и от меня требовались не мнения и не заключения, а деятельное участие в этом начинании, но участвовать в нем я мог лишь при одном условии — если я увижу все собственными глазами. Мне представлялось необходимым ознакомиться с горным производством во всем объеме, хотя бы бегло, и самому постигнуть его, ибо только в этом случае я мог надеяться, что проникну в суть позитивных проблем, а заодно ознакомиться и с историей этого производства. Поэтому я уже давно задумывался о поездке в Гарц и как раз теперь ощутил в себе подлинную тягу в те места, тем более что это был сезон зимней охоты. В те времена зима обладала для меня большой привлекательностью, что же касается рудников, то в их недрах не бывало ни зимы, ни лета; кстати, сознаюсь, что желание увидать и поближе узнать моего чудаковатого корреспондента немало способствовало моему решению.

Итак, охотники отправились в одну сторону, я — в противоположную, к Эттерсбергу, и тут же стал сочинять оду под названием «Зимнее путешествие на Гарц», которая так долго оставалась загадкой среди моих небольших стихотворений. С севера шли темные снеговые тучи, среди них высоко надо мною парил ястреб. Ночевал я в Зондерсхаузене, а на следующий день так быстро дошел до Нордхаузена, что после обеда решил немедленно двинуться дальше; однако до Ильфельда, после целого ряда приключений, добрался очень поздно, несмотря на проводника и зажженный фонарь.

Постоялый двор внушительных размеров был ярко освещен, — там, очевидно, отмечался какой-то праздник. Поначалу хозяин не хотел пускать меня: эмиссары важнейших дворов, говорил он, давно занимаются здесь серьезными делами по согласованию интересов, а поскольку им это наконец удалось, то сегодня у них пир горой. Уступая уговорам и намекам проводника, убеждавшего, что со мною нельзя так поступать, хозяин согласился освободить мне маленькое помещеньице, отделенное от залы деревянной перегородкой, и свое супружеское ложе, покрытое белым покрывалом. Он провел меня через эту залу, так что я успел краем глаза увидеть всех там присутствовавших.

А дырка на месте сучка в одной из досок дала мне возможность внимательно понаблюдать за гостями и этим немного поразвлечься. Видимо, она служила и хозяину для подслушивания разговоров своих постояльцев. Я видел длинный стол, обращенный ко мне нижним концом, напомнивший мне картины «Брак в Кане Галилейской», потом я оглядел сидевших за столом гостей: председательствующие, советники, другие участники, далее — секретари, писаря, помощники писарей. Счастливое окончание тягостного дела словно уравняло присутствующих, — все болтали что бог на душу положит, пили за здоровье друг друга, острили; некоторые из гостей были явно выбраны в качестве мишеней для довольно злых шуток. Короче говоря, веселое застолье. Я мог наблюдать его спокойно, во всех его особенностях и деталях, словно рядом со мною находился хромой бес, позволивший мне непосредственно увидеть и узнать жизнь других людей. А насколько позабавила меня такая сцена после путешествия по Гарцу в кромешной тьме, по достоинству оценят любители подобных приключений. Порою все, что я видел, казалось мне призрачным, словно духи веселились предо мною в горной пещере.

Отлично выспавшись за ночь, я чуть свет поспешил с моим проводником к Бауманновой пещере, излазил ее вдоль и поперек и досконально ознакомился с поразившим меня волшебством Природы. Массы черного мрамора, растворявшегося и тут же вновь слагавшегося в белые кристаллические колонны и плоскости, непреложно убеждали меня в беспредельности и непрерывности чудотворных сил Природы. Правда, перед трезвым взором начисто исчезли те фантастические образы, которые так любит создавать из несуразной бесформенности наше мрачное воображение; но тем отчетливее и чище проступало доподлинно чудесное, так дивно меня обогатившее.

Выйдя из пещеры, я тут же внес в дневник важнейшие мои наблюдения, но рядом с ними также и новорожденные строфы «Зимнего путешествия на Гарц», стихотворения, и по настоящее время еще привлекающего к себе внимание многих моих друзей. Здесь приводятся мною лишь некоторые из этих строф, прямо относящиеся к тому — по-своему любопытному — человеку, с которым мы вскоре повстречаемся. Они лучше пространных рассуждений передают тогдашнее состояние души моей.

Но кто там бредет?
Исчезает в чащобе тропа,
И сплетается поросль
У него за спиной,

Подымаются травы —
Глушь его поглощает.

Кто уврачует больного,
Если бальзам для него
Обратился в отраву,
Если несчастный вкусил
Ненависть в чаше любви?
Прежде презренный, ныне презревший,
Он тишком истощает
Богатство своих достоинств
В себялюбивой тщете.

Если есть на лире твоей,
Отче любви,
Хоть единый звук,
Его слуху внятный,
Услади ему сердце!
Взор яви из-за туч,
Освети родники без числа
Жаждущему в пустыне![7].

Приехав в Вернигероде и остановившись в гостинице, я тут же вступил в пространный разговор с кельнером. Он оказался человеком смышленым и, как видно, неплохо знающим своих сограждан. Я сказал ему, что, попадая в незнакомый город без особых рекомендаций, я обычно справляюсь о молодых людях, преданных науке и искусствам; не может ли он назвать мне такого юношу, с которым я мог бы еще сегодня провести приятный вечер. Кельнер, ничуть не задумываясь, ответил, что мог бы мне посоветовать свидеться с неким господином Плессингом, сыном суперинтенданта. Он еще мальчиком поражал своих учителей выдающимися способностями, да и теперь пользуется репутацией человека немалых знаний и светлого разума. Правда, многие не одобряют его неизменно мрачного настроения и то, что он себя как бы сам изъял из круга своих сверстников недружелюбным поведением. Но с приезжими, по общему приговору, он ведет себя неизменно вежливо и предупредительно. Словом, если мне угодно сообщить господину Плессингу о своем желании встретиться, это можно сделать безотлагательно.

Кельнер вскоре принес мне его положительный ответ и вызвался проводить меня. Уже сгущались вечерние сумерки,

когда я вошел в большую комнату, каковая, как правило, расположена в нижнем этаже любого пастората; полумрак не помешал мне в общих чертах уловить внешний облик молодого человека. К тому же я угадал по некоторым приметам, что его родители только недавно покинули комнату, чтобы не помешать беседе сына с подошедшим гостем.

При свете внесенных свечей я яснее разглядел молодого Плессинга. Он был удивительно похож на свое письмо; возбуждая к себе интерес, он отнюдь не внушал особой симпатии.

Чтобы дать предстоящему разговору определенное направление, я выдал себя за рисовальщика из города Готы, которого побудили семейные обстоятельства посетить в эту непригожую погоду сестру и зятя, проживающих в Брауншвейге.

«Ну, раз вы так близко живете от Веймара, — перебил он меня с необычайной живостью, — вы уж, конечно, бывали и в этом достославном городе». Я подтвердил его догадку и начал подробный рассказ о советнике Краузе и возглавляемой им школе рисования, о легационном советнике Бертухе и его кипучей деятельности; не забыл я упомянуть ни Музеуса, ни Ягемана, а также капельмейстера Вольфа и некоторых выдающихся женщин, составивших единый кружок, охотно принимающий в свою среду местных и иногородних жителей.

Но тут он выпалил уже с заметным нетерпением: «Почему же вы ни словом не обмолвились о Гете?» Я ответил, что и его, конечно, встречал в этом кругу, где его почитают весьма желанным гостем, более того, Гете и меня обласкал и благосклонно поддержал своим вниманием как приезжего художника; но говорить о нем подробнее мне едва ли удастся: он чаще живет в плодотворном одиночестве, да и вращается в совсем других, более высоких, сферах.

Молодой человек, слушавший меня с напряженным вниманием, настойчиво потребовал от меня более подробной передачи моих впечатлений от этой странной личности, о которой кто теперь только не говорит. Я бесхитростно набросал его портрет, что мне не стоило большого труда, так как эта личность стояла передо мной, к тому же в достаточно странном положении; так что, будь мой слушатель чуть щедрее наделен от рождения тем, что зовется «умом сердца», от него бы не скрылось, что стоящий перед ним гость описал самого себя.

Молодой Плессинг долго шагал по большой комнате. Но тут подошла горничная с бутылкой вина и изящно сервированной холодной закуской. Когда все было поставлено на стол, мой собеседник налил вина нам обоим, чокнулся и тут же поспешно осушил свой бокал. Едва я, чуть помедлив, поглотил содержимое

моего бокала, он, энергично схватив мою руку, воскликнул: «О, простите мое странное поведение! Но вы внушили мне такое доверие, что я ничего не могу скрыть от вас. Мне кажется, что человек, которого вы так хорошо описали, все же должен был бы мне ответить; я написал ему подробное, откровеннейшее письмо, открыл ему все мои страдания, всю мою тягостную жизнь и просил его поддержать меня, подать мне спасительный совет. Но вот прошло уже шесть месяцев, а от него ни слуху ни духу. Неужели же моя горячая исповедь не заслужила ответа, хотя бы отрицательного?»

Я ответил, что не берусь ни понять, ни извинить такого поведения. Но одно мне все же известно, что этот вообще-то добрый, благожелательный и отзывчивый юноша всегда так плотно осаждаем в прямом и переносном смысле великим множеством людей, что иной раз он и впрямь не может пошевелиться, а не то что оказывать действенную помощь.

«Ну раз мы до столького уже договорились, — сказал он более спокойным голосом, — так позвольте мне прочесть мое письмо и судите сами: разве оно не заслуживает ответа или хотя бы возражения?»

Я зашагал по комнате в ожидании чтения и стараясь ни о чем не думать, зная наперед, какое впечатление оно на меня должно произвести, и беспокоясь только о том, как бы себя не выдать, не нарушить взятой на себя роли при столь деликатном обстоятельстве. Тут он сел против меня и начал читать, страницу за страницей, все письмо, так хорошо мне знакомое. И никогда, быть может, я не был так убежден в правоте физиогномистов, утверждающих, что любое одушевленное существо в каждом своем проявлении, в каждой своей повадке находится в полном согласии с самим собой и что любая монада, ставшая реальностью, заявляет о себе прежде всего неизменным единством всех своих своеобычных проявлений. Чтец полностью соответствовал прочитанному: письмо в равной степени не находило во мне отклика — как в отсутствие, так и в присутствии его автора. И все же этому юноше нельзя было отказать в уважении, нельзя было отнестись к нему безучастно, что подтверждалось уже самим фактом моего приезда в этот город. Письмо явно свидетельствовало о серьезности его стремлений, о поисках благородного ума некой высшей цели. Речь в нем, казалось бы, шла о самых тонких чувствах, но их изложение было начисто лишено какого-либо обаяния; в каждой строке, в каждом обороте его речи сказывался свойственный ему крайне ограниченный самолюбивый эгоцентризм. Закончив чтение, он с торопливой настойчивостью спросил меня, каково мое мнение:

неужели же его письмо не заслуживает, более того, не требует ответа?

Теперь мне точнее, чем когда-либо, уяснилась великая беда этого молодого человека: он ничего не знал о внешнем мире, все почерпалось им только из обширной его начитанности. Все свои силы, все свои способности он обращал вовнутрь; а так как в душе его отсутствовал хотя бы проблеск таланта, то он, можно сказать, был изничтожен и раздавлен навалом приобретенных им разнородных знании. Странно, но этому молодому человеку были, видимо, начисто незнакомы и те светлые радости, которые так дивно обогащают всех, кто изучает языки классической древности.

Так как я уже не раз с успехом испытывал в схожих обстоятельствах и на себе, да и на других, одно средство, а именно доверчивое обращение к природе в ее безграничном разнообразии, я попытался применить таковое и в данном случае, а потому после некоторых колебаний обратился к моему собеседнику с такой речью:

«Мне кажется, я отчасти уразумел, почему тот молодой человек, к кому вы обратились с таким чрезвычайным доверием, оставил вас без ответа. Дело в том, что нынешний его образ мыслей так противоположен вашему, что он, надо думать, не надеялся установить с вами какого-либо взаимопонимания. Мне случалось присутствовать во время оживленных бесед в том дружеском кружке, о котором я вам говорил, и мне пришлось слышать из его же уст, что, по его разумению, имеется только одно средство спастись, избавиться от болезненного, мрачного, самоистязательного душевного состояния, и это средство — внимательное созерцание природы и сердечное участие ко всему, что творится во внешнем мире. Уже самое общее знакомство с природой, безразлично, с какой ее стороной и на каком трудовом поприще ты с нею соприкоснулся, в качестве садовника или земледельца, охотника или рудокопа, отвлекает нас от бесплодного самоанализа. И, напротив, когда мы направляем все наши духовные силы на познание реальных, бесспорно существующих явлений, это постепенно вселяет в нас великий покой и удовлетворенность ясностью, уже нами достигнутой. Вот почему судьба художника, неизменно верного природе и вместе с тем стремящегося расширить и усовершенствовать свою душу, представляется нам наиболее завидной».

Мой юный друг внимал моим словам с нетерпением, с явным беспокойством и с возраставшей досадой, как слушаешь речь, произнесенную на неизвестном тебе языке или уж очень запутанную. Я же, без надежды на успех, тем не менее продолжал

говорить, лишь бы только не погрузиться в обидное молчание. «Мне как пейзажисту, — говорил я, — все эти мысли были особенно дороги, поскольку мое искусство непосредственно обращено к природе. Но с тех пор, как мне довелось их услышать, я стал усерднее и ревностнее присматриваться к природе, не только к особо прекрасным и выразительным ландшафтам, но и ко всем ее порождениям, не обходя ни одно из них своей преданной любовью». И тут, чтобы не погрязнуть в общих местах, я ему признался, что даже это — казалось бы, вынужденное — зимнее путешествие было для меня не в тягость, а в непроходящую радость. Я поэтически, но в самых обыденных, безыскусных словах описал ему все, что повстречалось мне на пути: и раннее утро с блестящим снежным покровом на горных вершинах, и бескрайнюю лесную чащу при непрерывно меняющемся освещении; я пытался воздвигнуть в его дремлющем воображении причудливые башни и крепостные бастионы Нордгаузена, увиденные мною уже в сгустившихся сумерках, и — далее — ночное журчание вод, низвергающихся в тесные ущелья и нет-нет да обретающих мимолетную видимость в неверном мерцании фонаря моего вожатого. Так я вплотную подошел к рассказу о Бауманновой пещере, но тут же был прерван моим слушателем.

«Если я о чем жалею, — сказал он, — так это о времени, потраченном мною на хождение к этой пещере. Где уж ей было тягаться с моим представлением о ней, порожденным моей фантазией?» После сказанного выше меня не могли особенно огорчить болезненные симптомы его душевного состояния: ведь я не первый раз видел, что человек предпочитает достоинству ясной действительности туманный морок своего воображения. Не более удивило меня и то, что в ответ на мой вопрос, какою же он представлял себе эту пещеру, наш молодой друг обрисовал ее так, как едва ли бы удалось самому смелому театральному художнику воссоздать притворы Плутонова царства.

Я испробовал еще несколько пропедевтических средств, чтобы уяснить себе, какого курса лечения следовало бы ему придерживаться. Но строптивый юноша так решительно заявил, что ничто в мире удовлетворить его не может, и душа моя для него поневоле замкнулась. Проделанный мною ради него трудный путь я счел достаточным проявлением доброй воли, чтобы успокоить мою совесть и признать себя свободным от каких-либо перед ним обязательств.

Было очень поздно, когда он вызвался прочесть мне еще и второе, более резкое, свое послание, которое я тоже помнил слово в слово. Но тут я сослался на чрезмерную усталость, и он уважил

мою отговорку; тем настоятельнее он приглашал меня, от имени родителей, к раннему завтраку. Я порешил тогда же утром ему открыться. А пока мы расстались мирно и благопристойно. Личность его произвела на меня весьма своеобычное впечатление. Роста он был среднего, черты лица его не были привлекательны, но нельзя сказать, чтобы уж очень отталкивающи; при всей своей мрачности он не был невежлив, скорее даже мог сойти за вполне благовоспитанного молодого человека, который в тиши, в гимназии и в университете, усердно готовился занять церковную или академическую кафедру.

Выйдя на улицу, я убедился, что небо к ночи прояснелось, вызвездило, а улицы и площади густо устланы сверкающим снежным покровом. Я задержался на проторенной тропинке, залюбовавшись полуночной снежной былью. Обдумав сегодняшнюю встречу, я принял твердое решение более не встречаться с этим молодым человеком, а посему велел подать мне лошадь, едва займется рассвет. Кельнеру я вручил карандашную записку без подписи с просьбой доставить ее молодому человеку, с которым он меня познакомил, устно же присовокупил к моим извинениям несколько добрых и правдивых слов, не сомневаясь, что мой угодливый вестник сумеет их изрядно приукрасить.

Я ехал в Гослар через Раммельсберг, где ознакомился с медеплавильными печами и другими техническими приспособлениями сходного назначения, стараясь понять и запомнить их устройство. Продолжив свой путь, я должен был придерживаться северо-восточного склона Гарца, подвергаясь ярым налетам ветра и хлопьев метели. Но об этом распространяться не буду, в надежде, что вскоре выпадет случай поговорить с моими читателями подробнее.

Не помню, долго ли я оставался в неведении касательно моего вернигеродского знакомца, когда нежданно в мой веймарский Садовый домик поступило его письмецо с просьбою повстречаться; я тут же ответил, что буду рад его видеть. Уже я мысленно предвосхищал сцену недоуменного узнавания, но вошедший молодой человек спокойно сказал мне: «Я ничуть не удивлен вас застать здесь. Почерк, которым написано ваше приглашение, мне сразу же напомнил те строки, что вы мне направили, покидая наш город, а заодно и тогдашнего таинственного посетителя».

Такое начало возобновившихся отношений меня не могло не порадовать; между нами завязалась доверительная беседа: он обрисовал мне положение, в котором очутился, я же прямодушно высказал свои мнения. Не берусь судить, действительно ли

изменилось его душевное состояние, но надо думать, что с ним все обстояло не так уже плохо, — во всяком случае, мы, после ряда откровенных объяснений, расстались друг с другом мирно и дружелюбно, только что я не мог ответить взаимностью на его жгучее желание заключить со мною страстную дружбу и душевную близость.

Некоторое время мы еще поддерживали довольно усердную переписку, тем более что мне не раз представлялась возможность оказывать ему весьма существенные услуги, о чем он всегда вспоминал с благодарностью при наших редких встречах. А впрочем, и он и я не без удовольствия вспоминали о наших первых встречах. У него, по-прежнему более всего занятого собою, было, конечно, о чем порассказать и в чем поисповедоваться. Надо сказать, что ему со временем посчастливилось добиться положения довольно видного писателя, автора серьезных трудов по древнейшей философии, особенно связанной с мифологическими представлениями первобытных народов. Таким путем он надеялся выявить религиозные истоки прамышления раннего человечества. Плессинг присылал мне все свои книги по мере их выхода в свет, но, признаюсь, читать их я так и не отважился — слишком далеки были его кропотливые труды от насущных моих интересов.

Не скрою, и теперешний образ его жизни меня тоже никак не мог утешить. В дни молодости он запустил, а быть может, и высокомерно презрел лингвистические и исторические знания, чтобы потом тем яростнее овладеть ими. Таким безмерным духовным рвением он истощил свои физические силы; а материальные его обстоятельства были далеко не из лучших. Ограниченность его доходов никак ему не позволяла сколько-либо печься о здоровье, щадить свой уже изрядно изношенный организм. К тому же он так и не преодолел самоистребительных привычек поры своей мрачной юности. Казалось, он и теперь по-прежнему стремится к недосягаемой цели. А потому, когда нам обоим наскучило предаваться сладостным воспоминаниям, наша непринужденная общительность сама собой прекратилась. Мы разошлись в полном мире и согласии, но меня не покидали страх и тревога о нем в связи с наступившими бедственными временами.

Навещал я тогда и достославного Меррена, обширные естественнонаучные познания которого сообщали нашим беседам незабываемую привлекательность. Он показал мне множество примечательных экспонатов и подарил свое сочинение о змеях, что меня побудило и впредь относиться с особым вниманием ко всей его деятельности, и это пошло мне на пользу. Ведь общение

с выдающимися людьми доставляет почти ту же своеобразную выгоду, что и путешествия: поразившая нас личность, подобно полюбившейся местности, приковывает к себе человека до конца его дней и пробуждает в нас неиссякающее участие.

Мюнстер, ноябрь 1792 г.

Заранее оповестив княгиню о своем приезде, я надеялся обрести благоустроенный приют тотчас по прибытии в Мюнстер. Но рок судил иначе: мне еще предстояло претерпеть очередное досадное неудобство, на каковые не скупилось выпавшее на нашу долю беспокойное время. Задержавшись в пути по ряду непредвиденных причин, я прибыл в город глубокой ночью, и мне представилось неудобным сразу же подвергнуть испытанию гостеприимство княгини, нагрянув к ней в столь неурочный час. Посему я велел отвести меня в гостиницу, но там мне решительно отказали и в комнате и в ночлеге. Дело в том, что волна эмигрантов докатилась уже и до этих мест: ни одного свободного номера не оказалось. Не долго думая, я порешил просидеть остаток ночи на стуле в опустевшем ресторанном зале — все лучше, чем блуждать под проливным дождем в тщетных поисках пристанища.

Наступившее утро с лихвою вознаградило меня за ночное неустройство. Княгиня вышла мне навстречу; все в доме было приготовлено к моему приему. Я, со своей стороны, тоже приготовился к предстоящим мне встречам: я знал ее окружение, знал, что буду здесь общаться с людьми глубоко нравственными и непритворно религиозными, соответственно чему я и стану держаться. Что же касается княгини и ее присных, то они никогда не нарушат светской обходительности и того, что зовется «гостеприимством мысли».

Несколько лет тому назад княгиня посетила нас в Веймаре с сыном, с дочерью и с господами фон Фюрстенбергом и Гемстергейсом. Уже тогда мы с ними сошлись во многом, уступая друг другу в одном и молчаливо допуская другое, и расстались добрыми друзьями. Княгиня принадлежала к разряду людей, о которых нельзя составить себе верное представление без длительного общения с ними от лица к лицу, без дачи себе ясного отчета, почему именно эта самобытная личность иное принимает из духовного обихода своего времени, другое же решительно отвергает. Иными словами, понять ее было возможно, только разобравшись в ее контактах и конфликтах со сверстной эпохой. Фон Фюрстенберг и Гемстергейс, два превосходных человека, были неизменными друзьями и единомышленниками княгини. В общении с ними идеи Добра и Красоты никогда не утрачивали

своей занимательности и живительной силы. Гемстергейс к тому времени уже умер, но Фюрстенберг, хотя и значительно превосходивший его годами, оставался все тем же рассудительным, благородным и уравновешенным человеком. Необычным было уже его положение в этом мире! Видный иерарх католической церкви и просвещенный государственный деятель, он чуть было даже ни удостоился высокого сана князя-епископа.

Наш первый большой разговор, сейчас же после краткого обмена давними воспоминаниями, был всецело посвящен Гаманну, надгробный памятник которому я вскоре обнаружил в отдаленном уголке безлиственного ноябрьского сада.

Высокие свойства его души послужили нам исходной точкой для многих интереснейших высказываний; но последние дни его жизни всеми тщательно обходились молчанием. Как ни странно, но этот замечательный человек, сам на склоне своей жизни прилепившийся душой к кружку столь достойнейших людей и ставший для них желанным, почитаемым другом, опочив в доме княгини, сделался для новых своих друзей отчасти уже неудобен, ибо любой вид его захоронения не укладывался в формы существующей обрядности.

Говорить о духовной жизни княгини нельзя без искренней любви и благоговения. Она рано постигла умом и сердцем, что высшее светское общество нам ничего дать не может, что надо уйти в себя, в свой сокровенный внутренний мир, чтобы вместе с кругом ближайших единомышленников проникнуть в смысл времени и вечности. Эта двойная задача всегда ею владела. Высшей идеей, выдвинутой ее временем, она почитала возврат к природе; здесь нельзя не вспомнить о максимах Руссо касательно гражданской жизни и воспитания детей. Надо во всем вернуться к наивно-естественному, расстаться с корсетами и высокими каблуками, стряхнуть с себя пудру, не завивать волос. Ее дети должны были научиться плавать, бегать, бороться, чуть ли не драться. Я с трудом узнал ее дочь — так она выросла и окрепла, сделалась рассудительна, услужлива и домовита, свыклась с простой, почти монастырски-воздержанной жизнью. Так обстояло дело с преходящим временем; что же касается вечности, бытия извечно-грядущего, то княгиня без труда проникала в эту выспреннюю сферу с помощью присущего ей религиозного чувства, которое свято подтверждало и твердо обещало все то, чему нас учит и на что призывает нас уповать догматическое вероучение.

Роль прекрасной посредницы между этими двумя мирами исполняла благотворительность — кроткое порождение сурового аскетизма. Жизнь княгини и людей ее круга была сплошь

заполнена религиозными упражнениями и добрыми делами. Весь уклад ее дома свидетельствовал об укоренившейся скромности, об умении довольствоваться малым. Все насущные потребности сполна удовлетворялись, но без излишних затрат: мебель, посуда и прочая утварь не отличались ни роскошью, ни изяществом. Казалось, что жизнь здесь протекает в удобной, но толком не обставленной наемной квартире. То же можно было бы сказать и о домашней обстановке Фюрстенберга. Он жил во дворце, не будучи его владельцем, детей у него, как у викарного епископа, тоже не было, никто ему не наследовал, сам же он был человеком простым и непритязательным, придававшим значение внутреннему, никак не внешнему достоинству, как, впрочем, и его приятельница княгиня. Но в этих невзрачных, скромных помещениях велись беседы, самые тонкие и задушевные, глубокие благодаря их философичности и радостные благодаря искусству; ведь в философии редко исходят от общих отправных точек, тогда как, занимаясь искусством, часто приходят к одинаковым выводам.

Гемстергейс, нидерландец по крови, человек тонкого ума, с юных лет погрузившийся в мир античной культуры, посвятил свою жизнь княгине, о чем немолчно свидетельствуют его сочинения, проникнутые духом взаимного доверия и общностью пройденного ими пути духовного развития.

Руководствуясь никогда ему не изменявшим тонким, проницательным чутьем, этот бесценный человек неустанно стремился проникнуть как в духовно-нравственную, так и в чувственно-эстетическую сферу классической древности. Духовно-нравственным началом надо проникнуться самому, тогда как чувственно-эстетическое должно неизменно окружать тебя; почему для частного лица, не располагающего большими помещениями и к тому же несогласного отказывать себе в наслаждении искусством даже во время путешествий, нет ничего более желанного, как поучительно-драгоценное собрание резных камней, которое может повсюду следовать за ним, а главное, не прерывать его благородных занятий и досугов.

Но чтобы составить примечательную коллекцию, мало только страстно того возжелать; здесь — помимо потребных средств — необходимо еще и везение. Судьба не обделила нашего друга благоприятствующими случайностями. Проживая на стыке Голландии с Англией, он зорко наблюдал за круговоротом товаров, не прекращавшимся между обеими странами, в том числе и художественных ценностей, вовлеченных в это оживленное коммерческое коловращение. Так он постепенно, что покупая, что приобретая в обмен, составил превосходную

коллекцию из семидесяти гемм при содействии замечательного резчика Наттера, к советам и предложениям которого он проникся особенным доверием.

Большая часть этой коллекции возникла на глазах у княгини; она и сама обрела вкус к резным камням, прониклась любовью к античным геммам и недурно в них разбиралась. После смерти своего ближайшего друга она унаследовала его коллекцию, в которой он всегда как бы незримо соприсутствовал.

Философию Гемстергейса, ее исходные положения и последовательное ее изложение, я мог освоить не иначе как переводя таковую на язык моего собственного мышления. Прекрасное и та радость, которая от него исходит, — так говорил Гемстергейс, — объясняется тем, что оно, прекрасное, дает нам возможность отчетливо видеть и постигать в *едином миге* великое множество представлений. Я бы выразился иначе: прекрасным мы признаем то, когда видим закономерно возникшее порождение жизни в состоянии величайшего напряжения всех ее творческих сил, а значит, и в ее совершенстве. Порываясь его воспроизвести, мы и сами ощущаем в себе полноту жизни и прилив высокой дееспособности. По сути, здесь высказывается — и им и мною — одна и та же мысль, только что разными людьми. Воздержусь от дальнейших разъяснений, замечу лишь, что прекрасное не столько совершает, сколько обещает, тогда как безобразное — всегда результат заминки, торможения и, в свою очередь, приводит к торможению, не оставляя простора для надежд, желаний и ожиданий.

Я думаю, что мне удастся истолковать в духе моих воззрений и его «Письмо о скульптуре»; уяснил я себе таким же образом и его книжечку «О желаниях». Ведь случается, что прекрасное, о котором мы так страстно мечтали, становясь нашей собственностью, далеко не всегда и не всеми частными своими качествами отвечает нашим ожиданиям в той мере, в какой оно восхищало нас в целом, а отсюда следует, что понравившееся нам целое в деталях может и не удовлетворять нас в полной мере.

Такого рода наблюдения занимали нас уже потому, что княгиня не раз замечала, что ее друг, страстно желавший приобрести то или иное произведение искусства и обретя таковое, вскорости остывал к нему, о чем так изящно и тонко повествует он сам в своей книжечке. При этом следует, конечно, давать себе отчет: заслуживало ли приобретенное произведение энтузиазма, проявленного нашим коллекционером, — если да, то его радость и восхищение будут всегда возрастать и обновляться; если же не совсем так, то температура восторга опустится на несколько градусов, и мы выиграем в разумении то, что утратили

в силу былой своей предвзятости. А посему правы истинные ценители, утверждающие, что надо-де покупать произведения искусства, чтобы научиться их оценивать, а для этого прежде всего необходимо отбросить жажду приобретения, сообщающую предмету мнимое достоинство. Однако и здесь следует равномерно чередовать томление с удовлетворенностью, не давать первому возобладать над второй, чтобы не нарушить тем самым правильной пульсации жизни, дабы однажды обманувшийся окончательно не утратил способности желать и обладать.

О том, как восприимчиво было общество, в котором я находился, к такого рода рассуждениям, легко убедится каждый, кому довелось ознакомиться с сочинениями Гемстергейса, возникшими и вскормленными в этом избранном кругу.

Вновь и вновь возвращаться к осмотру резных камней не раз доставляло нам ни с чем не сравнимую радость. И как не воздать должного тому поразительнейшему обстоятельству, что этот чудесный цвет язычества хранился и высоко почитался как раз в таком истинно христианском доме. Я не уставал отмечать очаровательные мотивы, открывавшиеся внимательному глазу, всматривавшемуся в сии дивные скульптурные миниатюры. Кто станет отрицать, что эти воссоздания великих мощных творений древних, которые, не будь этих гемм, для нас навечно были бы утрачены, что они сохранились для потомства, подобно россыпи драгоценных алмазов, в данном собрании на предельно малом пространстве — и в каком же богатом разнообразии! Тут и увенчанный плющом ражий Геркулес, искусно выдающий колоссальные размеры своего прообраза. Здесь и зловещая голова Медузы, а также Вакх, некогда хранившийся в кунсткамере Медичи, и рядом — прелестные сцены древних жертвоприношений и вакханалий, а в довершение всего — бесценные портреты известных и безвестных лиц стародавних времен. Всем этим мы восхищались неоднократно.

Нашим разговорам, невзирая на возвышенное и глубокое их содержание, ничто не грозило сорваться в пропасть туманной невнятицы (да такая опасность и не намечалась), она словно бы даже объединяла нас в некое сообщество, поелику почитание достойных предметов всегда сопровождается неким религиозным чувством. И все же мы не могли не сознавать, что самый дух христианской религии — всегда в разладе с подлинным изобразительным искусством, поскольку христианство стремится уйти от всего чувственного, тогда как пластичные искусства признают область чувственного исконным поприщем своего творчества и никогда не решатся от нее отречься. В

подтверждение сказанного я тут же, не сходя с места, написал нижеследующее стихотворение:

Как-то Амур — не дитя, а плут, обольстивший Психею,—
Дерзко взошел на Олимп в поисках новых побед;
Там он увидел ее, Венеру-Уранию, краше
Прочих богинь, и любовь вспыхнула в сердце его;
Но опалил и ее, пречистую, пламень нещадный,
Сопротивляться она ласкам его не могла.
Так появился на свет другой Амур, получивший
Чувственный пыл от отца, скромность от матери в дар.
Вечно в обители муз и дни он проводит и ночи,
И острие его стрел будит к искусствам любовь[8].

Этот аллегорический символ веры хоть и ни в ком не вызвал недовольства, но и общего признания все же не удостоился. Ибо обе стороны вменяли себе в долг выражать лишь такие свои чувства и убеждения, какие разделялись бы всеми и служили бы взаимному поучению и наставлению, не вызывая какой-либо распри и разномыслия.

Нельзя не признать, что рассматривание резных камней всегда с успехом заполняло ценным посредствующим звеном любую брешь, грозившую образоваться в оживленном разговоре. Что до меня, то я был разве что способен отмечать и восхвалять чисто поэтические достоинства гемм, их мотивы, их композицию, точность изображения, тогда как у иных вошло в привычку предаваться более тонким наблюдениям. И то сказать, для истинного любителя, приобретающего эти драгоценности и задавшегося целью и впрямь составить образцовую коллекцию, чтобы быть уверенным в бесспорной ценности приобретенного, недостаточно проникнуть в дух и смысл сих художественных изделий и простодушно ими наслаждаться; он должен брать во внимание также и внешние качественные достоинства своего собрания, в каковых не так-то просто разобраться тому, кто сам не освоил технику данной отрасли искусства. Гемстергейс поддерживал с этой целью многолетнюю переписку со своим другом Наттером, и их поучительные письма частично еще сохранились. В них, в частности и преимущественно, говорилось о различных породах камня, которыми пользовались художники, причем в старину предпочитались породы одних камней, а в более поздние времена — другие. Особое внимание обращалось на тщательность обработки камня, на искусное выполнение деталей, что якобы позволяло относить отвечавшие этим

требованиям геммы к счастливейшей, более давней поре, тогда как небрежная работа, напротив, указывала на духовное оскудение мастерства, хотя, конечно, и на неспособность резчика или его легкомысленное отношение к своей работе — всё черты, которые приписывались более поздним поколениям. Обращалось сугубое внимание также и на качество полировки в углубленных местах на поверхности камня, будто бы тоже неоспоримо подтверждающее древнейшее происхождение геммы. И все же никто не решался установить твердые критерии, которые давали бы возможность признать данный резной камень подлинно античным или же изделием новейшего времени. Сам Гемстергейс полагался в вопросах датировки художественных произведений на суждения своего друга Наттера, выдающегося мастера по резьбе на камне.

Я нисколько не скрывал, что, соприкоснувшись с данной областью искусства, так глубоко меня затронувшей, оказался полнейшим новичком, и не раз высказывал сожаление, что краткость моего здешнего пребывания вскоре прервет возможность направлять мой глаз и мою пытливость на дальнейшее освоение этой особи искусства. Княгиня, со свойственной ей прямотой и благожелательностью, изъявила свое согласие предоставить мне в пользование всю коллекцию, с тем чтобы я у себя дома совместно с моими друзьями и признанными специалистами изучил и освоил эту отрасль пластического искусства, укрепляясь в своих выводах и наблюдениях с помощью серной и стеклянной пасты. Но я решительно отказался от такого заманчивого для меня и почетного предложения, которое — это я знал — не было только пустой любезностью. Признаюсь, что больше всего меня и пугало и смущало то, как хранились эти драгоценности. Геммы помещались в разных ящичках, как придется: то хранилась в нем одна гемма, то две, а то и три. При осмотре такой коллекции не так-то просто заметить исчезновение одной из гемм. Сама княгиня призналась, что однажды в самом избранном обществе пропал камень с изображением Гермеса, что было замечено только впоследствии. Далее я указал, что едва ли следует в наше беспокойное время брать в дорогу такой ценный клад, взвалив на себя связанную со всяческими опасениями тяжкую ответственность. Поэтому я, высказав свою искреннюю благодарность княгине, счел необходимым привести все веские доводы в оправдание моего отказа. Княгиня как будто со мной соглашалась, я же старался каждую свободную минуту проводить в созерцании этих высокохудожественных изделий.

Как ни странно, а мне все-таки пришлось отчитаться в нашем кругу и в моих естественнонаучных наблюдениях, хотя я и

предпочитал о них помалкивать, заранее зная, что тут они сочувствия не встретят. Но фон Фюрстенберг как-то обмолвился, что ему, к его изумлению (что почти звучало как «к крайнему его недоумению»), не раз приходилось слышать, будто я в связи с моими занятиями физиогномикой взялся за изучение остеологии, от которой вряд ли приходится ждать какой-либо помощи, занимаясь истолкованием черт лица человеческого. Возможно, да так оно и было, я и впрямь сказал кому-то из друзей, желая их примирить с моими занятиями остеологией, по их убеждению вовсе не подобающими поэту, что, еще будучи студентом, я ознакомился с азами этой науки, а теперь вот вновь обратился к этому источнику знания под влиянием Лафатеровой физиогномики. Что касается самого Лафатера, этого удачливого исследователя органически сложившихся человеческих лицевых черт, то он, придя к заключению, что не только лицевые рельефы, но не в меньшей степени и разновидности мышц и нашего кожного покрова, равно как и производимое ими впечатление, несомненно, зависят от костяка, то есть от внутренней костяной основы внешних обличий человеческого рода, счел необходимым поместить в своем обширном труде несколько гравюр, изображающих черепа также и животных, препоручив мне написать к таковым краткий комментарий. То, что я приводил в докладе из прежних моих высказываний, а также из новейших положений, подтверждающих справедливость моего подхода к этим явлениям, не могло привести к признанию моей правоты: подобные научные обоснования были еще очень далеки от уровня тогдашних воззрений. Поглощенные привычными представлениями, мои слушатели признавали известное значение разве что за подвижными чертами лица, да и то преимущественно в состоянии сильных аффектов, не давая себе отчета в том, что мы здесь имеем дело не с ничем закономерно не обусловленной видимостью, а с примечательным результатом внутренней органической жизни, проявляющейся во внешнем, подвижном, изменяющемся.

Куда лучше, чем доклад, сошли мои лекции, читанные перед большой аудиторией. На них присутствовали лица духовного звания, наделенные изощренным умом и тонкой восприимчивостью, а также юноши, хорошо сложенные и благовоспитанные, стремящиеся чего-то достигнуть в этой жизни, на что им давали право надеяться их недюжинные способности и твердые убеждения. Никем не поощренный в моем намерении, я избрал темой моего непринужденного разговора праздники Римской церкви: страстную неделю, пасху, праздник тела господня и день св. Петра и св. Павла, а также — для увеселения

аудитории — освящение коней, лошадиный праздник, в коем принимали участие также и другие дворовые и комнатные животные. Эти праздники стояли у меня перед глазами со всеми мельчайшими характерными для каждого из них подробностями, так как я тогда как раз носился с мыслью написать «Римский год», развернув всю чреду, весь свиток церковных и светских торжеств, происходивших в Вечном городе, что дало мне возможность описать таковые по не померкшим в моей памяти непосредственным впечатлениям. Посему мои благочестивые католические слушатели были столь же довольны моим рассказом, как светская молодежь воссозданной мною картиной карнавала. Один из присутствующих, человек не очень осведомленный, шепотом спросил, правда ли я верующий католик. Об этом мне рассказала княгиня, заодно сообщив, что она незадолго до моего приезда получила ряд писем, в которых ей советовали относиться ко мне с некоторой опаской, я-де прекрасно умею прикидываться набожным христианином, чуть ли не католиком.

«Поверьте, дорогая, — воскликнул я, — я не притворяюсь набожным, а бываю им, когда чувствую в том потребность. Мне свойственно, и это дается мне легко, воспринимать все проявления жизни ясным и непредвзято-наивным взором и передавать их в таком же незамутненно-чистом виде. Карикатурные искажения, которыми грешат против возвышенных предметов черствые себялюбцы, были мне издавна ненавистны. Что мне не по душе, от того я отвращаю свой взор, но многое из того, что я не принимаю безусловно, мне все же удается понять в своей самобытности, и тут я нередко прихожу к убеждению, что и другие вправе существовать по-своему, как по-своему, согласно моим воззрениям, живу и я». Так был улажен и этот вопрос. Такое отнюдь не похвальное вмешательство в наши отношения привело к прямо противоположному результату: не к недоверию, как они того хотели, а, напротив, к полному доверию.

В таком деликатном окружении было невозможно позволить себе резкость, проявить недружелюбие; напротив, я чувствовал, что душа моя смягчилась, стала более кроткой, какой давно уже не была. Могло ли выпасть на мою долю большее счастье, как наконец-то, после всех ужасов войны и бесславного бегства, вновь испытать на себе благое воздействие прекраснодушной благочестивой человечности.

И все же я в такой благородной, безупречно-нравственной, радушно-гостеприимной среде однажды, уж не знаю, как это случилось, проявил себя строптиво и неуважительно. Я широко прославился своим, как говорили, отменным чтением стихов,

свободным, естественным и выразительным, а потому все хотели меня услышать, а так как всем членам нашего кружка было известно мое страстное восхищение «Луизой» Фосса, напечатанной в ноябрьском номере «Меркурия» за 1784 год, мои деликатные друзья положили на подзеркальный столик означенный номер журнала в качестве скромного намека, призывавшего меня к ответной любезности. Я и теперь никак не могу понять, что мне тогда помешало воспользоваться случайной паузой в нашей беседе для того, чтобы порадовать других и себя чтением этой превосходной поэмы, но что-то сковало мои уста и мою волю, и я так и не преодолел своего непостижимого торможения.

Близился день отъезда, хочешь не хочешь, а надо было расставаться. «Теперь, — сказала мне княгиня, — никакие возражения вам не помогут, вы берете с собою резные камни, я этого требую». Но я продолжал отказываться в самых дружественных и уважительных словах. «Ну тогда я вам объясню, почему я на этом настаиваю. Дело в том, что мне не советовали доверить вам эти сокровища, и как раз потому-то я хочу и должна это сделать. Мне говорили, что я не настолько вас знаю, чтобы быть в вас вполне уверенной и в данном случае. На это я им ответила, — продолжала она: «Неужто вы думаете, что мнение, какое у меня о нем сложилось, мне не дороже этих камней? Если мне суждено в нем усомниться, так пусть вместе с моей верой в него заодно пропадут и эти камни». Я подчинился ее воле. Ее слова исполнили меня гордостью, но вместе с тем налагали на меня немалую ответственность. Все некогда выдвигавшиеся мною сомнения отпали благодаря деятельному участию княгини: серные отливки гемм были каталогизированы и уложены в те же ящички, что и оригиналы, и это давало возможность их сличать с таковыми в случае встретившейся в том надобности; вес всей этой сокровищницы был ничтожен и никого не мог обременить.

Так протекало наше дружеское прощание, но — еще не окончательное: княгиня высказала желание проводить меня до ближайшей почтовой станции и села ко мне в карету. Ее экипаж без седоков следовал за нами. Мы затронули во время последней нашей беседы и важнейшие вопросы касательно смысла жизни, а также наших религиозных убеждений. Я — кротко и миролюбиво повторив мой давний символ веры, она — высказав надежду встретиться со мной, если не здесь, на земле, так в потустороннем мире.

Эта прощальная формула благочестивых католиков была мне хорошо знакома и нисколько меня не коробила. Я не раз слышал ее при расставании со случайными курортными знакомыми и от

благоволивших ко мне благодушных священников и не видел причины, чем меня могло бы задеть пожелание верующего католика вовлечь меня в свой праведный круг, где, по его убеждению, только и можно жить и мирно опочить, твердо уповая на вечное блаженство в райских кущах.

Благодаря дружескому обо мне попечению моей благородной спутницы, станционный смотритель не только ускорил мой отъезд, но и спешно известил смотрителя ближайшей станции о моем предстоящем приезде и о скорейшем препровождении меня на всем протяжении пути, как было им помечено в подорожной. Как позднее выяснилось, эта услуга оказалась весьма необходимой. Дело в том, что я за увлекательной беседой совсем позабыл, что меня нагоняет целая орава французских беглецов. И в самом деле, я вскоре, на мою беду, повстречался с великим множеством эмигрантов, улепетывавших в глубь Германии, к которым местные почтальоны относились ничуть не лучше, чем их собратья на Рейне. Шоссе местами пришло в полную негодность, приходилось объезжать эти провалы то справа, то слева, натыкаясь на встречных проезжающих и пересекая им дорогу. Вереск, кустарник, пни — одно другого не легче! Не обошлось и без грубых перебранок.

Одна карета застряла в рытвинах дороги. Пауль, быстро приземлившись, ринулся на помощь. Должно быть, подумал, что это все те же хорошенькие француженки, нуждавшиеся в его услугах. Он встретил их в Дюссельдорфе в самом плачевном положении. Бедная дама, так и не отыскавшая своего супруга, попала в водоворот наших злоключений, который вынес ее на правый берег Рейна.

Но здесь, в той глухомани, чрез которую мы продирались, ее не было. В карете сидело только несколько почтенных старых дам, и впрямь нуждавшихся в помощи. Но когда мы предложили ямщику остановиться и впрячь в карету и своих лошадей, наш возница отказался от этого наотрез, посоветовав нам позаботиться о нашей почтовой карете, битком набитой, как он сказал, серебром и золотом: ведь и она может при такой перегрузке застрять в дорожном месиве или, чего доброго, перевернуться. Хоть он и честный малый, но в этой проклятой пустыне он ни за что не может поручиться.

К счастью и к успокоению нашей совести, несколько вестфальских крестьян вызвалось за хорошую мзду поставить погрязшую карету на относительно благополучную проезжую часть дороги.

В нашей грузной почтовой карете тяжелее всего были железные обручи и втулки на колесах: драгоценности же, то бишь

мои резные камни, не отягчили бы и легчайшего экипажа. Ах, кабы я ехал теперь в своей легонькой богемской карете! Так-то оно так, но меня не переставало страшить вздорное предположение почтаря, будто бы тяжесть пути вызвана перегрузкой кареты свертками золотых монет и драгоценностями. Эта небылица, как мы заметили, передавалась одним ямщиком другому. А так как наш приезд заранее возвещался подорожной, мы же из-за непогоды не могли соблюдать указанных в ней часов прибытия, то на каждой станции нас торопили с отъездом, то есть попросту выпроваживали в ночь и мокрядь, так что однажды — в темень хоть глаз выколи — с нами и вправду приключился случай, наводивший на самые мрачные размышления: ямщик ни за какие блага не соглашался везти дальше проклятую колымагу и остановился у одинокого домика на опушке леса. А домик был таков по своему виду, местонахождению и по своим обитателям, что даже и при свете сияющего дня могла взять тебя оторопь, на него глядючи. Но день, пусть даже самый серый, принес успокоение. Вспоминались добрые друзья, с которыми я еще так недавно проводил такие незабвенные часы. Я вдумывался в своеобычность каждого из них с любовью и уважением и воздавал должное их душевным качествам. Но наступала ночь, и опять мною овладевали былые страхи и опасения, и снова я чувствовал себя прескверно.

Но как ни были мрачны владевшие мною мысли в последнюю, самую непроглядную, ночь, они мигом развеялись, как только я въехал в Кассель, освещенный сотнями и тысячами фонарей. Глядя на этот избыток света, я всей душою ощутил преимущества стародавнего бюргерского уклада, благоденствие горожан, живущих за стеклом своих освещенных окон, а также обилие гостиниц и заезжих домов, всегда готовых принять под свой кров приезжего. Но мое благодушие было на время поколеблено, когда я остановил мою почтовую карету у великолепно иллюминированной, хорошо мне знакомой гостиницы на Королевской площади. Привратник мне сообщил, что свободных комнат в гостинице нет. Я не пожелал отступать. Тогда вежливо подошел к спущенному оконцу щеголеватый кельнер и на превосходном французском языке выразил сожаление, что мне не может быть предоставлена комната за неимением таковых. На это я ему заявил на чистейшем немецком, что меня крайне удивляет, что в столь большом здании, где я не раз останавливался, нельзя найти номера для иногороднего гостя, прибывшего глубокой ночью. «Так вы немец! — воскликнул кельнер. — Это другое дело», — и тут же велел ямщику въехать во двор гостиницы. Предоставив мне приличную комнату, хозяин

сказал, что он твердо решил впредь не принимать ни одного эмигранта. Они ведут себя заносчиво и к тому же плохо платят: находясь в крайней беде, не зная, где приклонить свою голову, они все еще воображают, что находятся в завоеванной ими стране. Утром я распрощался с владельцем отеля по-дружески, и на дороге в Эйзенах уже не замечал такого наплыва непрошеных гостей.

Мой приезд в Веймар тоже не обошелся без приключения: дело в том, что я прибыл уже после полуночи, и тут разыгралась семейная сцена, которая в каком-нибудь романе могла бы развеять и потопить в веселье и смехе самый темный житейский сумрак.

Я нашел дом, мне предназначенный моим государем, уже перестроенным, приведенным в порядок и частично даже пригодным для жилья, но не настолько, чтобы вовсе лишить меня удовольствия участвовать в его достройке и отделке. Члены моей маленькой семьи были здоровы и веселы, но когда дело дошло до пересказа событий, то райское наше житие, в каковое они уверовали, лакомясь сластями, присланными им из Вердена, весьма и весьма контрастировало с невообразимыми тягчайшими испытаниями, выпавшими на нашу долю. Отрадно было, что наш тихий домашний круг обогатился и приумножился благодаря ставшему членом нашей семьи Генриху Мейеру — другу дома, художнику, знатоку искусств и верному сотруднику, принявшему живое участие в наших трудах поучающим словом и практической деятельностью.

Веймарский придворный театр существовал с 1791 года: лето тогдашнего и текущего нынешнего года он гастролировал в Лаухштадте и там, благодаря частому исполнению в большинстве своем высококачественных пьес, достиг изрядной сыгранности труппы. Таковая в основном состояла из актеров ансамбля, руководимого Джузеппе Белломо: все хорошо знали друг друга по совместным выступлениям на театральных подмостках. Имелись в труппе также и молодые актеры, частию уже с известным стажем, частию же еще только многообещающие новички. Эта артистическая молодежь неплохо заполнила брешь в былой труппе Белломо.

В те годы еще существовала одностильность актерского ремесла, дававшая возможность гармонического сотрудничества актеров из разных театров: драматических, — преимущественно из северной Германии, оперных — предпочтительнее из южной. Публика была ими довольна. Так как я уже и тогда был причастен к управлению театром, мне доставляло удовольствие потихоньку прикидывать, какого направления должна в дальнейшем

придерживаться дирекция театра. Я вскоре осознал, что техника игры, основанная на подражании, ни к чему другому не приведет, как только к нивелировке театральной практики и к рутине. Нам недоставало того, что я про себя называл грамматикой, которую необходимо усвоить, прежде чем перейти к риторике и поэзии. Так как я думаю подробнее вернуться к этой теме и не хочу разбивать мое пространное рассуждение на малые кусочки, скажу только одно: что я поставил себе цель изучить именно эту технику, почерпающую все из прошлого и старающуюся свести все к отдельным ее составным частям и частным случаям, не посягая на какие-либо обобщения.

Мне очень пошло на пользу, что я начал задуманную работу с рассуждения о преобладавшем тогда на сцене так называемом естественном или разговорном штиле, который сам по себе достоин всяких похвал, коль скоро он — на уровне истинного искусства — воссоздает как бы вторую действительность, но отнюдь не в тех случаях, когда исполнители предстают перед публикой, так сказать, «в натуре», предполагая, что тем самым они уже сотворили нечто достойное полного признания и поощрения. Этим-то их влечением к полной простоте и непринужденности я и воспользовался в моих целях. Мне было даже по душе, что актеры умеют так свободно пользоваться своими прирожденными данными, с тем, однако, чтобы в дальнейшем подчинить свою игру известным законам и правилам, постепенно достигнуть более высокого уровня сценической культуры.

Но об этом не позволю себе здесь говорить подробнее, поскольку то, что было нами сделано и достигнуто, развивалось, как сказано, постепенно, изнутри и, значит, должно было бы излагаться в строгой исторической последовательности.

Тем более я обязан хотя бы кратко упомянуть об обстоятельствах, наиболее благоприятствовавших успеху вновь возникшего молодого театра. Иффланд и Коцебу как раз переживали тогда лучшую пору своего цветения. Их пьесы, простые и доходчивые, были направлены частию против тупого мещанского самодовольства, частию же — против беспутной вольности нравов. И то и другое умонастроение отвечало духу времени и пользовалось шумным одобрением публики. Некоторые пьесы исполнялись прямо по рукописи, обдавая зрителей живым ароматом мгновения. Захватывающая, счастливая одаренность Шредера, Бабо, Циглера немало содействовала отрадному впечатлению от спектаклей. Бретцнер и Юнгер (и они действовали в одно и то же время) предоставляли простор беззаботному веселью. Хагедорн и Хагемейстер, таланты,

не выдержавшие испытания временем, тоже работали на потребу дня, и если их пьесы не вызывали восторгов, то все же охотно посещались как любопытные новинки. Желая духовно приобщить массовых потребителей пьес не ахти какого достоинства к большому искусству, мы знакомили публику с театром Шекспира, Гоцци и Шиллера. Отказавшись от дурной привычки ставить чуть ли не каждую мало-мальски сносную драматическую новинку, чтобы вскоре предать ее забвению, мы стали тщательнее отбирать пьесы для очередных постановок, тем самым составляя репертуар, продержавшийся до настоящего времени. Не хочется остаться в долгу перед человеком, который столь многим помог нам поставить на ноги наше театральное заведение. Я говорю о Ф.-Й. Фишере, уже немолодом актере, в совершенстве владевшем сценическим мастерством, человеке скромном и покладистом, не возражавшем против исполнения эпизодических ролей, в его исполнении становившихся значительными. Он привез с собой из Праги несколько артистов, придерживавшихся его взглядов и убеждений, и прекрасно сошелся с местными актерами, благодаря чему в театре установились мир и покой.

Что касается оперного репертуара, то мы отвели в нем немало места произведениям Диттерсдорфа, Наделенный изящным талантом и чувством юмора, он несколько лет подряд возглавлял княжеский театр, что сообщило его творениям приятную легкость и послужило нам на пользу, поскольку мы благоразумно смотрели на наше детище как на любительскую сцену. Много труда было положено на то, чтобы сообщить тексту как стихотворных, так и прозаических пьес своеобычность верхнесаксонского наречия, отвечающего вкусам публики, благодаря чему этот легкий товар пользовался неизменным успехом и популярностью.

Друзья, вернувшиеся из Италии, ввели в оперный репертуар сочинения Паизиелло, Чимарозы, Гульеми, а вслед за тем проник в наш театр и светлый гений Моцарта. Нельзя не принять во внимание, что большинство этих произведений было почти неизвестно и ни одно из них не заиграно — так как же не признать, что первые начинания Веймарского театра счастливо совпали с юношеской порой немецкого искусства, почему они и пользовались заслуженным успехом и поощряли естественное развитие самостоятельной отечественной культуры.

Чтобы облегчить и обеспечить безопасность пользования доверенной мне коллекцией гемм и начать ее изучение, я велел изготовить два изящных ящичка, дававших возможность единым взглядом обозреть все подряд в них размещенные геммы коллекции, так что любой пробел был бы тотчас же обнаружен.

Вслед за тем были изготовлены во множестве экземпляров серные и гипсовые отливки, точное соответствие каковых с оригиналом проверялось сличением через сильные лупы: привлекались также для сравнения и старейшие слепки, нами по случаю раздобытые. Мы наглядно убеждались, что на такой солидной основе можно с успехом заняться изучением резных камней. Но сколь многим мы были обязаны дружескому благоволению к нам княгини, нам открылось только со временем.

Мы позволили себе включить сюда этот результат наших многолетних наблюдений только потому, что едва ли мне удастся в ближайшем времени всецело сосредоточить свое внимание на вопросе, здесь нами затронутом.

Веймарские друзья, основываясь на своем эстетическом чутье и опыте, сочли себя вправе признать подлинно античными если не все, то большинство резных камней коллекции, бесспорно принадлежащих к наилучшим произведениям этой особи пластического искусства. Подлинниками были сочтены и некоторые геммы, вполне тождественные со стариннейшими серными отливками; относительно других говорилось, что нанесенные на них изображения совпадают с такими же, встречающимися на других геммах, что, однако, в иных случаях не мешает признавать подлинными и их. В самых больших собраниях гемм нередко встречаются повторяющие друг друга изделия, но было бы ошибочным считать одни оригиналами, другие же копиями.

Мы всегда должны хранить в своей памяти представление о благородной верности искусству древних, которые не уставали повторять некогда удавшийся художественный мотив. Мастера былых времен считали себя в достаточной мере оригинальными, когда ощущали в себе способность и умение по-своему воспроизвести правильно ими понятую оригинальную мысль. На некоторых резных камнях нашего собрания запечатлено имя художника, чему уже давно придают большое значение. Такой автограф всегда достаточно примечателен, но часто проблематичен: ведь весьма возможно, что камень древен, а нанесенное на него имя позднейшего происхождения, чтобы придать бесценному дополнительную ценность.

Хотя мы здесь, что вполне резонно, и воздержимся от какой-либо каталогизации, так как описание художественных произведений без их отображений мало что дает, мы все же не откажемся дать самое общее о них представление.

Голова Геракла. Нельзя не восхищаться благородным вкусом этой свободно выполненной работы и не восхититься еще в большей мере великолепной идеальной формой изображения,

которая в точности не совпадает ни с одной из известных нам голов Геракла, и уже этим приумножает достоинство сего драгоценного памятника.

Бюст Вакха. Работа, как бы дуновением уст нанесенная на камень, а по совершенству форм одно из превосходнейших созданий античности. В разных собраниях гемм находится много схожих изделий, и притом, если я не очень ошибаюсь, как неглубокой, так и, напротив, сугубо глубокой резьбы. Но мне не встретилась ни одна, которая чем-либо превосходила эту гемму. Фавн, желающий похитить облачение вакханки. Превосходная композиция, встречающаяся на многих древних монументах, выполненная блистательно.

Опрокинутая лира, чьи вознесенные ножки изображают двух дельфинов, а остов — увенчанную розами голову Амура. Рядом с лирой — пантера Вакха, держащая в подъятой лапе тирсовый посох. Исполнение удовлетворит любого знатока, но и любитель толкований мудреных сакральных аллегорий будет тоже ею доволен.

Маска с пышной бородой и широко открытым ртом. Высокий лоб обрамлен побегами плюща. В своем роде прекрасный камень. Ему не уступает достоинством и другая маска.

Маска с длинной бородой и с изящной высокой укладкой волос. Глубокая резьба геммы отличается замечательной тщательностью исполнения.

Венера, дающая Амуру отпить воды из кувшина. Одна из очаровательнейших групп, когда-либо созданных; композиция остроумно задумана, но выполнена без должного прилежания.

Кибела верхом на льве. Замечательное произведение, широко известное любителям по оттискам, хранящимся почти во всех коллекциях.

Гигант, извлекающий грифа из пещеры. Творение, обладающее многими художественными достоинствами, а по разработке мотива, быть может, не имеющее себе равных. Увеличенную копию этой геммы читатели найдут в Проспекте Фоса к Йенской Всеобщей Литературной газете 1801 года, том IV.

Профиль головы в шлеме, с большой бородой, может быть, тоже маска, но лишенная какой-либо карикатурности. Лицо решительное, собранное, героическое. Выполнено превосходно.

Гомер. Изображен на гемме в фас. Очень глубокая резьба. Поэт более молод, чем его обычно изображают; видимо, еще едва на пороге старости — в этом ценность геммы помимо ее художественных достоинств.

В собраниях оттисков резных камней часто встречается голова благообразного пожилого мужчины с длинной бородой и

длинными волосами, который (без должного на то обоснования) выдается за изображение Аристофана. Похожая на те оттиски гемма, только с незначительными отклонениями, имеется и в нашей коллекции. Выполнен этот портрет и впрямь весьма удачно.

У геммы «Профиль неизвестного» предположительно отломился кусок по брови человека, на ней изображенного. Кусок восполнили, и гемма, вновь отшлифованная, приняла прежнюю округлую форму. Величественнее и одухотвореннее мы никогда не встречали облика человеческого, воспроизведенного на малом пространстве резного камня; здесь художник блистательно показал неисчерпаемые возможности своего искусства. Тем же духом проникнут и другой портрет неизвестного, с накинутой на него львиной шкурой: и эта гемма обломлена по брови, но недостающая частица здесь заменена надставкой из чистого золота.

Голова человека в летах. Решительное, сосредоточенное, волевое лицо с коротко подстриженными волосами. Чрезвычайно свободное, раскованное проявление высокого мастерства художника. Особенно верно воссоздана борода, как ни на одной другой гемме.

Голова, или поясной портрет, безбородого мужчины; волосы повязаны лентой, плащ, закрепленный на правом плече, спадает широкими складками. Острый ум и несгибаемая воля присущи чертам его лица; таким мы привыкли видеть на изображениях Юлия Цезаря.

Мужская голова, также безбородая. Тога, как было принято при жертвоприношении, накинута на голову. Весь портрет исполнен правдивости и твердости характера. Нет сомнения, что эта гемма подлинна и восходит к временам первых римских императоров.

Бюст римлянки. Коса дважды охватывает голову; тщательность отделки поразительная; выражение лица правдиво, жизнерадостно, наивно.

Маленькая голова в шлеме, исполненная в фас. Могучая борода, характер решительный. Работа ценнейшая.

В заключение — несколько слов о замечательной гемме новейшего времени, голове Медузы, вырезанной на великолепном карнеоле. Ни в чем не отступает от знаменитой Медузы Сосикла. Бесспорно, превосходное подражание древним, но не более, чем только подражание. Художник скован оригиналом, а буква N, поставленная под нижним обрезом, позволяет предположить, что автор геммы Наттер.

Сказанного достаточно для того, чтобы истинные знатоки

представили себе ценность прославленной коллекции. Нам неизвестно, где она теперь находится; быть может, удастся разузнать что-нибудь о ее местонахождении, и тогда богатый любитель возымеет желание приобрести этот клад, если он только продается.

Веймарские любители искусств извлекли из этой коллекции все, что можно было из нее извлечь за срок, когда она была в их распоряжении. Уже в первую зиму она доставила великую радость избранному обществу, собиравшемуся у герцогини Амалии. Все старались набраться званий, ознакомиться с дивными резными камнями, и этой возможностью мы были обязаны великодушной владелице, позволившей нам многие годы наслаждаться этим бесценным кладом. Но незадолго до ее кончины она успела полюбоваться своими геммами, расположенными в двух ящичках одна возле другой в обозримом порядке, в каком ей не приходилось их ранее видеть; доверие, которое она мне оказала, ее не обмануло, чему ее благородное сердце не могло не порадоваться.

Но наши занятия искусством приняли и совсем другое направление. Я наблюдал цветовые феномены при самых различных обстоятельствах моей жизни и питал надежду их обнаружить и в сфере гармонии искусства, ради чего я, собственно, и начал в свое время мои наблюдения над цветом и светом. Друг Мейер набросал ряд композиций, в которых он располагал цвета то в последовательных переходах, то, напротив, в контрастном противостоянии для дальнейшей их проверки и всесторонней оценки.

Яснее всего цветовая гармония проявлялась в ландшафтах. Сторону, освещенную солнцем, всегда надо писать желтым и оранжево-красным цветом, но ввиду разнообразия явлений в мире природы названные цвета трансформируются в зеленовато-коричневые и зеленовато-синие. В пейзажах величайшие мастера живописи, почерпая цвета у природы, достигали в передаче естественных цветов большего, чем в исторической живописи, где художник при выборе цвета одеянии предоставлен самому себе и, не зная, как поступить, обращается к традиции, а подчас соблазняется и аллегорическим значением цвета, почему он и отходит от подлинно гармонического воссоздания цветовой гаммы.

Уделив столько места рассуждениям о пластических искусствах, я ощутил живую потребность возвратиться к разговору о театре и о моем касательстве к нему, высказать походя несколько соображений, чего я раньше вовсе делать не собирался. Чего, казалось бы, лучше воспользоваться

благоприятствующей обстановкой и, будучи писателем, что-то сотворить для нового театра в Веймаре и для немецкого театра вообще. Ибо, если всмотреться попристальнее, нельзя не обнаружить, что между вышеназванными авторами вкупе с их творениями осталось еще немало пустого пространства, каковое можно было бы заполнить собою; на земле достаточно разнородного материала, который следовало бы просто и правдиво обработать, стоит только за него ухватиться.

Но чтобы сразу высказаться ясно и безо всяких обиняков, я напомню вам о моих первых драматических сочинениях, ибо, хоть они сами и причастны мировой истории, они уж слишком раздались вширь, чтобы годиться для подмостков. Позднее написанные мною драмы были рассчитаны на их восприятие скорее внутренним, чем внешним оком; широкого распространения на театральных сценах они не получили, отчасти и по причине их сугубо строгой поэтической формы. Но за долгие годы я постепенно освоил технику, так сказать, «среднего регистра», которая могла бы произвести на публику относительно отрадное впечатление. Но тут я ошибся в выборе драматического материала, или, точнее, этот материал овладел мною вопреки моей нравственной сути, так как он как таковой более, чем какой-либо, строптиво сопротивлялся драматической его обработке.

Уже в 1785 году меня ужаснуло, как голова Горгоны, «дело об ожерелье». Эта неслыханно дерзкая афера, как я уже тогда говорил, подрывала монархическую власть, досрочно уничтожала ее, и все события, с тех пор развернувшиеся, подтверждали мое предчувствие. Я уезжал с ним в Италию и с ним же, еще более обострившимся, оттуда вернулся. К счастью, мой «Тассо» был тогда еще не завершен, но потом всемирно-историческая современность всецело заполнила мое сознание.

На протяжении ряда лет я проклинал дерзких обманщиков и мнимых энтузиастов, с омерзением удивляясь ослеплению достойных людей, поддавшихся явному шарлатанству. Теперь прямые и косвенные последствия этой дури предстали передо мной в качестве преступлений и полупреступлений, в их совокупности вполне способных сокрушить самые прочные устои.

Но чтобы самому как-то утешиться и развлечься, я старался усмотреть забавную сторону в поведении этих чудовищ, и форма комической оперы, которую я уже давно признал одним из наиболее удачных драматических жанров, мне показалась пригодной и в применении к более серьезному сюжету, как, например, в опере «Король Теодоро». Поэтому я приступил к созданию стихотворного текста задуманной оперы, уговорив

написать к ней музыку композитора Рейхардта. Не раз исполнялись удачные басовые арии, предназначавшиеся для этой оперы; другие номера, без контекста не имевшие самостоятельного значения, не достигали достоинства упомянутых арий, а сцена, от которой я ждал наибольшего впечатления, и вовсе не была написана. Ослепительным финалом оперы должна была стать сцена бушевания духов в хрустальном шаре рядом с пророчествующим в притворном сне чудодеем Кофтой.

Но благодетельные духи, видимо, не парили вокруг этого замысла; работа над оперой оборвалась, и, чтобы не пропал затраченный труд, я переработал стихотворное либретто в пьесу в прозе. Ее главные персонажи были отменно воссозданы актерами новой труппы, показавшими себя зрелыми мастерами в этой тщательно осуществленной постановке.

Но именно потому, что игра актеров была на высоте, пьеса произвела тем более отталкивающее впечатление. Страшный, но вместе с тем и пошлый сюжет, смелая и беспощадная расправа с виновными всех отпугивали и не будили отклика в сердцах зрителей. Сам прообраз события, не столь отдаленный по времени, еще ухудшил впечатление, а так как тайные союзы сочли себя неуважительно затронутыми, наиболее представительная часть публики влияла на восприятие прочих. Женская деликатность чувств к тому же почла себя оскорбленной грубой развязкой намечавшегося романа.

Я был всегда равнодушен к непосредственному восприятию моих произведений и спокойно отнесся и теперь к тому, что моя пьеса, на которую я потратил столько лет, не удостоилась одобрения публики. Я испытывал даже известное злорадство, когда люди, не раз поддававшиеся обману, смело утверждали, что такому грубому шарлатанству их никогда бы не удалось провести.

Но я не извлек никакого урока из этого злоключения. Все, что меня волновало, незамедлительно обращалось в драматическую форму. И если «дело об ожерелье» волновало меня как мрачное предсказание, то теперь меня ужасала сама революция в ее крайних проявлениях как грозное осуществление пророчества. Трон рухнул, рухнули устои великой нации, а после нашего злосчастного похода грозили рухнуть устои всего мироздания.

Все это меня страшило и угнетало. Я замечал, к моему огорчению, что в моем отечестве увлеченно играют на тех же инстинктах и теми же идеями, готовя и нам такую же участь. Я хорошо знал многих благородных мечтателей, увлеченных теми же надеждами и настроениями, не понимая ни себя, ни сути

совершавшегося. А в то же время явно дурные люди старались вызывать и множить недовольства, чтобы воспользоваться их возможными последствиями.

Яростным свидетелем моего озлобленного юмора оказался мой «Гражданин генерал». Меня побудил написать эту одноактную пьесу артист Бек, замечательный и самобытный исполнитель роли Шнапса в комедии Флориана «Два билета», в каковую Бек вложил как сильные достоинства, так и слабые стороны своего таланта. Поскольку маска Шнапса так пришлась ему впору, мы ввели в репертуар как бы его продолжение, небольшую комедию Антона Валла «Генеалогическое древо». Я отнесся с чрезвычайным вниманием к репетициям, оформлению и исполнению этого забавного пустячка и невольно проникся духом веселых дурачеств, присущих этому разгонному водевилю, и на меня нашел стих вывести в третий раз на подмостки пресловутого Шнапса. Так я и поступил; как всегда, работал с усердием и над этой пьеской. Будет не лишним сообщить, что туго набитый саквояж, фигурировавший на сцене, был подлинно французского происхождения: его подобрал мой Пауль во время нашего бегства из Франции. Великолепен был и Малькольми в кульминационной сцене, исполнивший роль благодушного зажиточного старого крестьянина, который, шутки ради, принимал самое отъявленное хамство за остроумную выдумку. Его изумительная игра была выше всяких похвал, он успешно соперничал с Беком в естественной подаче веселого текста. Но все напрасно! Пьеса произвела самое дурное впечатление, даже на друзей и благожелателей. Желая спасти себя и меня, они в один голос утверждали, будто пьеса написана не мной, а каким-то незадачливым литератором, я же только чуть-чуть подправил ее и, каприза ради, подписал своим именем.

Но никакой внешний неуспех не мог меня сделать чужим самому себе, я, напротив, тем упорнее замыкался в себе, и такое внешнее воссоздание духа времени служило мне своего рода утешительным развлечением. «Разговоры немецких беженцев» и оставшиеся фрагментом «Возбужденные» являются в не меньшей степени признаниями в том, что происходило в моей душе, как, позднее, и поэма «Герман и Доротея», почерпнутая все из того же источника. Правда, источник этот вскоре иссяк: писатель не мог угнаться за скоротечной всемирной историей и остался должным себе и другим, не завершив этой серии произведений; к тому же он увидел, что очередная загадка истории разрешилась таким решительным и нежданным образом.

При такой констелляции исторических сил трудно кого-либо назвать, кто, находясь в такой отдаленности от места рокового

бедствия, пребывал в столь подавленном состоянии духа. Мир казался мне более кровавым и кровожадным, чем когда-либо, и если жизнь короля на поле брани равнозначна жизни многих тысяч, то она безмерно возрастает в своей цене на поприще права. Король поставлен перед судом на жизнь и смерть, тут начинается брожение умов, обретают голос отрицатели правового государства, каковое королевская власть веками грозно отстаивала от произвола.

Но я пытался себя спасти и от текущих бедствий века, объявив весь мир негодной юдолью. И тут-то мне в руки случайно попал «Рейнеке-лис». Я насытился по горло уличными и рыночными сценами и ярыми выступлениями черни; теперь мне было в охоту и в забаву заглянуть в зерцало придворной и правительственной жизни. Ибо если и здесь род человеческий выступает в своей нелицемерной, откровенно животной сути, и тут отсутствуют образцовые нравы и порядки, но зато здесь все протекает весело до цинизма и добрый юмор нигде не в загоне.

Чтобы сполна, всей душой, насладиться этой бесценной книгой, я тотчас же стал ее переводить, а почему гекзаметрами, в этом попытаюсь отчитаться.

Вот уже много лет, по почину Клопштока, сочиняют в Германии сносные гекзаметры. Фосс, тоже позволявший себе писать и такими гекзаметрами, все же кое-где намекал, что можно их писать и получше. Он был беспощаден и к собственным сочинениям и переводам, отлично принятым читающей Германией. Я и сам очень хотел писать гекзаметры, как учил Фосс, но это мне все не удавалось. Что касается Гердера и Виланда, то они относились к этим новациям как истые латитудинарцы: они не терпели упоминания об опытах Фосса, подчинившего гекзаметр строжайшим правилам, отчего он нередко звучал неловко. Публика тоже ставила прежние гекзаметры Фосса превыше новейших. Я же всегда имел доверие к старику, добросовестность и серьезность которого едва ли кем подвергалась сомнению, и, будь я моложе и менее занят, я бы уж наверное поехал к нему в Эутин, чтобы выведать у него секрет его гекзаметров. Дело в том, что при жизни великого Клопштока Фосс никогда бы не решился сказать ему прямо в лицо, что, не подчинив немецкого стихосложения строжайшим правилам, никогда не добьешься совершенных немецких стихов. Что он успел высказать по этому поводу, казалось мне сивилловыми темнотами. О том, как я мучился, стараясь понять его предисловие к «Георгикам» Вергилия, я и теперь вспоминаю с удовольствием; имею в виду свое честное рвение, но никак не его результаты.

Я отлично сознавал, что мое обучение и образование может быть только практическим. Поэтому-то я и радовался случаю написать несколько тысяч гекзаметров, которые, в силу достоинства содержания поэмы, не могут не прийтись по вкусу читателям и не станут лишь преходящей ценностью, даже вопреки моей несовершенной технике. То, что в них подлежит осуждающей критике, со временем выяснится. Итак, я переводил «Рейнеке-лиса», уделяя этому труду, благородному уже в процессе работы, каждый свободный час, попутно достраивая и меблируя мое жилье и не думая о том, что меня ждет в будущем, хотя о том и нетрудно было догадаться.

Как ни далеко мы находились здесь у себя, на востоке, от великих мировых событий, уже и в здешних краях стали появляться предвестники наших изгнанных западных соседей; казалось, они высматривают, где им удастся себе сыскать гостеприимное убежище, которое им обеспечит должный прием и защиту. Хотя их пребывание было только мимолетным, они сумели — пристойным, терпеливо-уживчивым поведением, готовностью примириться с судьбой, а также решимостью честным трудом поддерживать свое существование — снискать симпатии всех и каждого и добиться того, что, глядя на них, предавались забвению пороки и проступки прочей массы французских эмигрантов и былая настороженная к ним неприязнь обратилась в благоволение. Это положительно сказалось и на судьбе тех, кто прибывал сюда позднее и впоследствии обосновался в Тюрингии; достаточно назвать имена Муньи и Камилла Жордана, чтобы оправдать наше изменившееся мнение о всей французской колонии — пусть не все были равны названным нами лицам, но отнюдь не были их недостойны.

Позволю себе утверждать, что, при всех важных политических обстоятельствах, всего лучше быть пристрастным зрителем великих событий, мысленно примкнувшим к одной из борющихся партий. Любое известие, ему благоприятствующее, его радует, тогда как неблагоприятствующее он игнорирует или перетолковывает в свою пользу. Напротив, писатель должен в силу его призвания быть и оставаться беспристрастным и объективным, стремясь проникнуть в психологию, в образ мыслей и в суть обстоятельств обеих сторон, но, убедившись в том, что разделяющие их противоречия не терпят примирения, решиться трагически погибнуть. А каким только грозным циклом трагедий мы не видели себя окруженными!

Кто же не ужасался в ранней юности приснопамятным 1649 годом, кого не потрясала казнь Карла I, кто не утешал себя тем, что эти неистовства слепой ярости никогда более не повторятся!

Но все повторилось, и куда ужаснее и беспощаднее, чем когда-либо, и притом у просвещеннейшей нации, как бы у нас на глазах, день за днем, шаг за шагом. Представьте себе только, что пришлось испытать в декабре и в январе тем, кто вступил в бой ради спасения Людовика, а теперь не мог ни повлиять на исход процесса короля, ни воспрепятствовать его казни.

Но вот Франкфурт опять в немецких руках. Приняты все меры к овладению Майнцем. Уже армия окружает его, взят Хоххейм, сдался Кенингштейн. Теперь на очереди превентивный поход на левый берег Рейна, чтобы обеспечить себе тылы. Мы движемся вдоль хребта Таунуса, через Идштейн и бенедиктинский монастырь Шёнау, на Кауб, а дальше — по надежному понтонному мосту — к переправе через Рейн. Начиная с Бахараха, передовые части вели упорные бои, принудившие противника к отступлению. Оставив справа горную гряду Хунсрюк, мы пошли на Шпромберг, где попался нам в плен генерал Нойвингер. Взяли Крейцнах и очистили треугольник, образуемый двумя реками — Наэ и Рейном. На подходе к Рейну мы не повстречались с противником. Кесарцы переправились через Рейн близ Шпейера. Продолжали окружение Майнца, и четырнадцатого апреля оно завершилось.

Эти сведения я получил вместе с вызовом к месту развернувшихся боев. Если ранее я участвовал в беде подвижной, то теперь буду участвовать в стационарной. Завершено окружение, так что нельзя избежать осады. Как неохотно я отправлялся к театру военных действий, убедится каждый, взглянув на этот офорт. Он точно воспроизводит мой рисунок пером, который я прилежно нанес на бумагу несколько дней тому назад. С каким чувством я уходил на войну, нетрудно угадать, прочитав рифмованные строки, выгравированные внизу на офорте:

Вот и живем опять своим мирком,
Не помышляя ни о чем другом.
Художник взором ласковым следит,
Как жизнь для жизни счастьем нас дарит.
Куда бы нас судьба ни занесла,
Нам родина по-прежнему мила.
Какую б ширь дороги ни сулили,
В своем гнезде тесниться мы решили.

КОММЕНТАРИИ

У Гете давным-давно вошло в привычку работать одновременно, деля свое время, над несколькими произведениями, сегодня щедро одаряя таковым одно из них и обделяя другое, а завтра — наоборот или тратя свое время на третье, пятое, седьмое. В последнее десятилетие жизни Гете, когда он вменил себе в непреложный долг закончить «главное дело» — «Фауста» и, кроме того, завершить «Поэзию и правду», «Вильгельма Мейстера» (его «Годы странствий»), а там, на беду, взбалмошный порыв заставлял его писать стихи, такие как «Завет» или чудесные — «Сверху сумерки нисходят, //Близость стала далека, // В небе первая восходит // Золотистая звезда…» (прекрасный перевод поэта Михаила Кузмина), или вдруг откликнуться рецензией на заинтересовавшую его книгу, а не то посидеть вместе с женевцем Сорэ над переводом на французский своего естественнонаучного труда. Это быстрое перенесение поэтического огня с одного объекта на другой, на сторонний взгляд, казалось произвольным, даже капризным.

Но Гете знал, когда, в какой день и час, он настроен работать как раз над этим, а не над другим своим произведением, всегда стараясь подарить каждому из них лучшие (для данного произведения) минуты и часы.

Так было и в 1820 году, совпавшем с началом работы над «Кампанией во Франции 1792 года». Собственно, Гете думал в названном году потрудиться над четвертой частью «Поэзии и правды», но воскресить далекие дни взаимной, еще не замутненной любви Гете и Лили Шёнеман, мемуаристу что-то все не удавалось. Причина такой литературной неудачи вскоре сама собой разъяснилась: с начала октября предыдущего, 1819 года, воображением Гете завладел материал, относящийся к «ужасным 1792–1793 годам», и требовал от писателя неотложной реализации. Два года Гете вплотную работал над «Кампанией во Франции…»; в 1822 году книга вышла в Лейпциге и в Вене одновременно. Непосредственным поводом, побудившим Гете обратиться к событиям 1792 года, были обнаружившиеся в 1819 году революционные настроения немецкого студенчества: убийство Зандом писателя Коцебу, осведомлявшего императора Александра I о назревавшей революции в Германии, учреждении тайного общества в Гисене, а также, по слухам, и в Берлине.

Что касается материалов, положенных в основу «Кампании…», то личных записей Гете, относящихся к событиям тех лет, оказалось до крайности мало: заметки на тыльной

стороне топографических карт, с указанием, где в данный день находился подвижной лагерь союзной армии (пруссаков, австрийцев и французских эмигрантов, а также присоединившихся к ним гессенцев). Кстати сказать, эти заметки явно уступали аналогичным записям многолетнего слуги Гете, Пауля Геце, а также камерьера Вагнера. Они и по сей день хранятся в рабочей комнате поэта в веймарском доме на Фрауэнплане. Сохранилось и несколько писем Гете, написанных из лагеря союзной армии. Пользовался Гете и некоторыми печатными и рукописными мемуарами своих былых конбатантов, а также историческими и военно-историческими сочинениями, как немецкими, так и французскими, успевшими охватить своим ученым трудом давно померкшую к выходу Гетевой книги первую коалицию против «неофранцузов». Эту кампанию давно затмили блестящие победы генерала Бонапарта, первого консула и императора Наполеона, а также Кутузова, Блюхера и Веллингтона (из которых только первый, полководец и дипломат, выдерживает сравнение с Наполеоном).

Книга, посвященная кампании 1792 года, собственно, не могла рассчитывать на читательский успех. Немцы оказались побежденными, но не из-за проигранных сражении. Хотя бы уже потому, что таковых в этой войне и не было. Зато наличествовали такие пороки командования союзной армии, как из рук вон плохая постановка санитарно-медицинской службы, дурное снабжение солдат вещевым и приварочным довольствием, даже хлебом, отсутствие сколько-либо заслуживающей доверия информации о противнике, его боевой готовности, о военных резервах, какими располагала новая Франция, и о морально-политическом сознании ее народа. Прибавим к приведенному перечню пороков еще и устарелость тактики и стратегии, окостенелый культ личности Фридриха II, без наличия человека, способного углубить и обновить его, что и говорить, выдающееся военное искусство. Впрочем, все его незаурядное искусство не избавило бы Фридриха от полного разгрома, если б не спасительная смерть императрицы Елизаветы Петровны и восшествие на российский престол недоумка Петра III, венценосного резидента и бесталанного обожателя «его прусского величества».

Но, пожалуй, самым слабым местом в деятельности верховного начальства объединенных союзных армий были ее выступления на поприще дипломатии. Пресловутый манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего союзников, полный угроз и презрения к армии, парламенту и клубам «неофранков», мощно содействовал укоренению антимонархизма

во Франции. К тому же результату привели и прочие дипломатические эксперименты власть имущих, в частности, такой политический и вместе финансово-экономический трюк: в манифесте и декларациях верховного командования утверждалось, что союзные державы вовсе не воюют против Франции, а пришли спасать их короля Людовика XVI от всяких супостатов. Нет, эти «защитники короля» отнюдь не занимаются «реквизициями», а разве что принудительно «брали взаймы» у населения «все потребное для ведения войны»; все эти займы будут-де сполна оплачены тем же королем Людовиком.

В «Кампании во Франции…», в отрывке, помеченном 28 августа 1792 года, Гете с глубоким сочувствием простому народу описывает сцену такого «взятия взаймы» всего поголовья овец у местных пастухов — в обмен на вексель, выписанный на имя короля. Отрывок этот кончается такими словами: «Только греческая трагедия с ее величавой простотой способна нас потрясать глубиною столь неизбывного горя». Но в этом же отрывке имеются и другие слова, менее литературные, более трезвые. «После манифеста герцога Брауншвейгского, — так пишет Гете, — быть может, ничто так не восстанавливало народ против монархии, как именно этот наш способ действия».

Сколько раз приходилось читать в статьях и книгах, посвященных жизни или творчеству (а то *и жизни и творчеству)* Гете, что «Кампания во Франция 1792 года» не обладает тем поэтическим, чисто художественным обаянием, каким так щедро наделены «Поэзия и правда» или «Итальянское путешествие». Эта мысль так часто повторялась, что уже стала как бы общим достоянием гетеведения. Конечно, тема «Поэзии и правды», тема «становления поэта», затронутая уже во второй главе («Новый Парис») и ставшая центральной в третьей части знаменитой автобиографии, поэтичнее темы первой части «Кампании во Франции 1792 года» — темы неудачной экспедиции союзных армий, задавшихся целью восстановить дворянскую монархию Бурбонов. Не буду сравнивать, под тем же углом зрения, «Кампанию во Франции…» и «Итальянское путешествие». Что и говорить, поэтическим обаянием и оно превосходит военные мемуары Гете.

Другой вопрос: вправе ли мы судить о художественном достоинстве произведения по тому, какой «материал» положен в его основу? Про Гете никак нельзя сказать, что он принижал значение «материала», давшего повод к возникновению художественного произведения, то есть впечатлениям и мыслям, им почерпнутым из жизни. Но значительный материал — еще не искусство. Искусство — это «художественное отображение

жизни», оно предполагает полное соответствие изобразительных средств изображаемому предмету. В этом смысле «Кампания во Франции 1792 года» одно из замечательнейших произведений Гете.

Начнем с формы произведения. Оно должно было быть написано в виде дневника, хотя Гете не вел дневниковых записей в тот год. Но только в этой форме ему могло удаться достичь искомую правдивость своих свидетельских показаний. Это, конечно, не «всамделишный» дневник с его натуралистическими случайностями. Он тщательно прокомпонован рукою большого художника, как лучшие главы «Поэзии и правды»; избегнута монотонность однородных «дневниковых отрывков»; напротив, отдельные эпизоды контрастно противопоставлены друг другу при искусном соблюдении непринужденности переходов от темы к теме.

Напомним, кампания 1792 года, окончившаяся поражением союзников, не знала сражений, тем более генерального, решающего. Ждать батальной живописи от свидетеля такой войны не приходится. Ничего похожего на Аустерлицкое сражение или Бородинский бой (в изображении Л. Толстого) здесь не встретишь. Главнокомандующий союзных армий герцог Брауншвейгский был полководцем не наполеоновской (или суворовской), а фридриховской школы, и, подобно Фридриху II, он более полагался на искусные маневры, на свое умение поставить противника в положение, когда численное превосходство, прикопленное к развязке этой сугубо маневренной войны, предрешало поражение противника. Герцог точно придерживался фридриховской тактики, но после знаменитой артиллерийской дуэли при Вальми численность союзной армии, не давшей ни единого сколько-нибудь значительного сражения, так сократилась из-за голода и холода, что о последней, решающей схватке нечего было и думать.

Герцог Брауншвейгский был вовсе не из числа самых ограниченных или неспособных генералов. И он предупреждал на военном совете до начала кампании, что силы союзников слишком малы для удержания в своих руках мятежной Франции.

Но эмигранты, с их легкомысленным оптимизмом, с ним не соглашались. Герцога уговаривали долго, но это привело только к тому, что поход был начат под проливным дождем августа и сентября месяцев. То же получилось и с пресловутым манифестом. Герцог долго отказывался его подписать, но король Прусский, и его «резидент» барон Штейн Старший, и несколько австрийских и прусских дипломатов на этом настояли.

Гете только намекает на эти споры в верховном

командовании в замечательной сцене, где армия сподобилась лицезреть обоих верховных: прусского короля и герцога Брауншвейгского, спускавшихся в разных местах с холмов вниз, в равнину, «подобно ядру кометы, с предлинным хвостом его свиты». «Кто же из этих двух, по сути, главнейший, — спрашивали себя невольно. — Кому из них предоставлено право решать, как следует поступить в сомнительном случае? Вопрос оставался без ответа, но тем более ввергал нас в тревоги и раздумья». Единодушие проявили король и главнокомандующий только после канонады под Вальми, где и тот и другой одинаково настаивали на немедленном перемирии и выходе из пределов Франции.

Гете обладал редким даром несколькими штрихами, «быстрой прозой», как выражался Пушкин, воссоздавать эпизодических действующих лиц этой жалкой эпопеи: благодушных рядовых солдат, напавших на замаскированный винный погреб в опустевшем крестьянском доме, или молодого красивого офицера, получившего приказание от прусского принца Луи-Фердинанда двигаться вперед, тогда как он получил задание не тревожить французов. Гете, по просьбе офицера, объясняет принцу несовместимость этих двух задач. А как замечательна сцена — вполне неожиданная встреча автора с бывшим королевским посланником в Венеции маркизом де Бомбелем, трагической фигурой «старого режима» рядом с трагикомическою другого маркиза (не названного по имени), чуть не свихнувшегося, увидавши двух принцев королевской крови (будущих королей Людовика XVIII и Карла X) дрожащими от холода и насквозь промокшими, так как они, следуя этикету французского двора, не посмели одеться потеплее, раз прусский король, выступая из Глорье, не надел плаща, невзирая на дождь и ветер.

Я бы назвал эту встречу Гете с маркизом вставной новеллой, если б не малый ее размер. Даже при восстановлении полного ее текста она уместится на одной странице.

Вторая часть «Кампании…» переносит нас в поместье «философа чувств» Фридриха Якоби «Пемпельфорст», в его либеральный салон, где атей Дидро, утонченный платоник Генстергюс, правоверная католичка княгиня Голицына, последовательный реалист Гете (впрочем, он своих карт до конца не открывал) и многие другие со своими мировоззрениями выслушивались с одинаковым веротерпимым уважением. Впрочем, этот суперлиберальный культурный центр распался в 1794 году.

Надо сказать, все автобиографические сочинения Гете ставят

себе одну цель: изображение человека в его соотношении со сверстным ему историческим временем. Но если в «Поэзии и правде», в «Итальянском путешествии» историческое время чаще ощущается только как общая бытовая и духовная атмосфера, в которой живут, действуют и творят герои и прочие персонажи биографии, то в «Кампании 1792 года» Гете и впрямь не «проходит мимо грандиозных сдвигов в мировой политической жизни». Две политические формации поставлены друг против друга, две армии решают судьбы истории: армия полуфеодальной Европы и армия революционной Франции. Это отличие «Кампании» от прежних автобиографических произведений великого писателя было сразу же отмечено читающей Германией. «Изо всех эпизодов истории вашей жизни этот отрывок наиболее увлекательный и пробуждающий всеобщий интерес, — писал ему Карл Фридрих фон Рейнгард. — В нем историческое время не пристегнуто к личным событиям, а вмуровано в таковые. Часть содержит целое». Названный корреспондент Гете в своем роде и сам замечательная личность: сын скромного немецкого бюргера, он бежал (в 1791 г.), как многие немецкие энтузиасты, в сутолоку Французской революции. Но потом быстро поостыл; во время консульства и империи служил в министерстве иностранных дел, поощряемый Талейраном и Наполеоном за сметливость и работоспособность; ценился он как дипломат и после реставрации Бурбонов; умер Рейнгард в 1837 г. графом и пэром Франции. Естественно, что ему, искусному политику, особенно понравилось названное произведение Гете.

И я был в Шампани! — Эпиграф, стилистически перекликающийся с эпиграфом «Итальянского путешествия»: «И я в Аркадии!» Но насколько эпиграф к «Путешествию» звучит восторженно, настолько эпиграф к «Кампании» проникнут горечью и самосожалением.

Господин фон Штейн Старший Иоганн Фридрих, барон (1749–1799) — старший брат выдающегося государственного деятеля барона Генриха Фридриха Карла фон Штейна (1757–1831), бывшего в 1812–1813 гг. приближенным императора Александра I.

Союзная армия состояла из 42 000 человек пруссаков, двух австрийских и одного гессенского корпуса, а также трех корпусов французских эмигрантов — всего около 81 000 человек.

Герцог Орлеанский Луи-Филипп (1747–1793) — в 1792 г. принял имя Филиппа Эгалите, был членом Конвента и голосовал за казнь Людовика, что, однако, его не спасло от гильотины.

Княгиня Монако, Мария-Катрина (ум. в 1813 г.) — В 1770 г.

добилась развода с первым мужем, князем Оноре III Монакским, и в 1798 г. обвенчалась с принцем Кондэ. Принц Кондэ, Луи-Жозеф де Бурбон (1730–1818) — маршал Франции, полководец, успешно участвовавший еще в Семилетней войне.

Шантийи — родовой замок фамилии Кондэ (побочной ветви Бурбонов).

Земмерринг Самуэль Томас (1755–1830) — естествоиспытатель и анатом, с 1784 г. профессор Майнцского университета; его жена, Маргарете Элизабет (урожд. Брумелиус) — уроженка Франкфурта-на-Майне. Земмерринг познакомился с Гете в 1783 г., с 1784 г. изредка переписывался с ним по вопросам анатомии.

Губер Людвиг Фердинанд (1764–1804) — писатель и переводчик французских авторов (благо его мать была француженка), близкий друг Шиллера.

Форстер Иоганн Георг (1754–1794) — естествоиспытатель и писатель; его художественно-описательная, а также научная и публицистическая проза по праву считалась образцовой. Начальное воспитание он получил в Англии, под руководством отца, тоже естествоиспытателя; участвовал вместе с ним в знаменитом кругосветном путешествии Кука, каковое описал с недюжинным литературным и научным талантом. Вернувшись в 1778 г. в Германию, Форстер сразу же установил прямые контакты с выдающимися немецкими писателями и учеными. С Гете дружески сошелся в 1783 г. и в следующем году посетил его в Веймаре. После занятия Майнца французами (в октябре 1792 г.) учредил в этом городе, где он служил с 1788 г. библиотекарем, клуб по образцу Якобинского клуба в Париже и хлопотал о присоединении к Франции Майнца и всего прирейнского края на правах как бы автономной «первой немецкой республики». В 1793 г. в качестве депутата Рейнского национального конвента Форстер выехал с этой целью в Париж. Там, страдая от голода на хлебной должности интенданта дивизии, умер в 1794 г. «от истощения и сердечной болезни» одиноким, глубоко разочарованным во Французской революции человеком.

Лейтенант фон Фрич (1772–1808) — сын веймарского министра Панова Фридриха фон Фрича.

Мой слуга — Иоганн Георг Пауль Геце (1754–1835), служил Гете с 1780 по 1795 г.; позднее — инспектор проезжих дорог герцогства.

Памятник близ Игеля — по новейшим изысканиям сооружен в 250 г. братьями Секундинием Авентином и Секундинием Секуром в качестве памятника «для себя и потомков».

Корпус эмигрантов — из трех корпусов эмигрантов один, при

котором следовали принцы (граф Прованский и граф д'Артуа, будущие короли Людовик XVIII и Карл X), составлял арьергард прусской армии.

Генерал времен Тридцатилетней войны. — Изречение, вложенное в уста упомянутого, но не названного по имени генерала, на самом деле было произнесено во время Гуситской войны естествоиспытателем и историком Цахарием Теобальдом (1584–1627), войсковым капелланом в армии Мансфельда. Изречение это относилось первоначально к «королю Гиршику», то есть Георгу Подебраду Богемскому.

Камерьер Вагнер Иоганн Конрад (1737–1802) — состоял при герцоге Карле-Августе Веймарском, почти всегда сопровождая его в путешествиях и походах.

Патриотизм. — Во время революции это понятие применялось только по отношению к революционерам; так — во Франции и Германии, так и в России при Екатерине II и Павле I.

Герцог Брауншвейгский — Карл-Вильгельм-Фердинанд, владетельный герцог Брауншвейгский и Люнебургский (1735–1806), брат герцогини-матери Анны-Амалии Саксен-Веймарской. Отличался как полководец в Семилетнюю войну, пользуясь неизменным благоволением Фридриха II. Считался «ведущим стратегом» своего времени. Эта репутация не была поколеблена неудачей, постигшей его в кампании 1792 г. Что и говорить, король Фридрих-Вильгельм II Прусский часто мешал ему, как верховному главнокомандующему. Но никто не мог ему приказать пойти в поход со слишком малыми, по его мнению, военными силами, как никто не мог бы заставить подписать гибельные для союзников манифесты от 25 и 27 июля 1792 г. или рваться к Парижу, оставив в тылу не взятые им французские крепости. Характерно, что накануне дня, когда герцог выехал в Потсдам для обсуждения плана кампании 1792 г., к нему поступило предложение занять пост главнокомандующего французской армией. В 1806 г., как бы в покаяние за то, что не слушались его безусловно, Фридрих-Вильгельм III (Второй к этому времени уже лежал в могиле) снова поставил главнокомандующим своей армии «ведущего стратега». Наполеон — под Наумбургом, Ауэрштедтом и Йеной наголову разбил прусскую армию. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненный, предварительно ослепнув от тяжкой контузии. Все это совершилось через шесть дней по вторжении Наполеона в прусские пределы.

…война была нами отчасти все же объявлена… — 20 апреля 1792 г. Франция объявила войну Францу II, королю Венгрии и Богемии, но не германо-римскому императору, каковым он

формально тогда еще не был; его избрание императором и коронование во Франкфурте состоялось только в июле 1792 г. Империи в целом Франция войны не объявила.

Гротус Николай Генрих Юлий (1747–1801) — юрист, прусский офицер; полагал, что может избежать безумия, наследственного в его роду, находясь в непрерывных путешествиях.

…юркие рыбки переливаются всеми цветами радуги. — Гете об этом феномене цвета и света, каковой он наблюдал также и в тюрингской водолечебнице Тенштедте, позднее написал в дополнениях к своему учению о красках (статья «В воде пламя»).

Агрикола Георг (1490–1555) — гуманист, минералог. Он рассказал о том же явлении в своем труде «De natura corum quae effluunt ex terra» (1545).

Князь Ройсс XI. — Гете, видимо, имеет в виду князя Ройсса-Грейца, Генриха XIV, австрийского посла в Берлине.

…ознакомиться с характерной чертой республиканского патриотизма. — В XVIII в. не раз отмечалась нерасторжимость понятий республиканского строя и патриотической добродетели (vertu Romaine). Возможно, что эпизод самоубийства коменданта был заимствован писателем у камерьера Вагнера, тоже отметившего «римскую смерть» Боренера (Николя-Жозеф; 1740–1792).

Лафайет Жан-Поль-Жильбер, маркиз де (1757–1834) — французский генерал, участвовал в Войне за независимость Америки; после революции — командующий Национальной гвардией и главнокомандующий восточным фронтом. Стоял за конституционную монархию и был объявлен изменником, сделал попытку перейти в нейтральную страну (19 августа 1792 г.), но попал в плен к австрийцам, которые продержали его в тюрьме до 1797 г.

Дюмурье Шарль-Франсуа (1739–1823) — французский генерал и дипломат. В марте 1792 г. вошел в состав жирондистского министерства в качестве министра иностранных дел, после краткого пребывания в военном министерстве был в июле назначен главнокомандующим французской армией. После изгнания союзных армий из Франции успешно очистил от австрийских войск австрийские Нидерланды. Страх перед приходом к власти якобинцев и его былые опасные связи с жирондистами заставили Дюмурье перейти на сторону австрийцев.

…вести об… печальных событиях в Париже… — 10 августа революционная часть населения столицы штурмовала Тюильри и перебила охранявшую Людовика швейцарскую гвардию. Король и

его семья искали защиты у Национального собрания, но конституция 1791 г. была отменена, а король объявлен преступником.

Генерал Клерфе Карл, граф (1733–1798) — австрийский фельдмаршал.

Принц Луи-Фердинанд (иначе: принц Фридрих-Людвиг-Христиан Прусский (в обиходе Луи-Фердинанд) — племянник Фридриха II) — родился в 1772 г., пал в штыковом бою при Зальфельде 10 октября 1806 г. Человек взбалмошный, но разносторонне одаренный, посетитель либерального салона Рахили Варнгаген фон Энзе. После его смерти были изданы его музыкальные сочинения, о которых весьма одобрительно отозвался Бетховен: «Это не августейшая, а самая настоящая музыка, то есть хорошая».

Принц де Линь Карл-Жозеф-Эмануэль (Линь Младший; 1759–1792) — родом бельгиец, полковник австрийской службы, сын австрийского фельдмаршала принца Карла-Жозефа де Линь (1735–1814).

«Монитер» — газета, выходившая с 1789 г., которую усердно читала вся грамотная Европа.

Ван дер Мейлен Антон Франц (1632–1690) — нидерландский художник, баталист и пейзажист, воспроизводил сцены из походов Людовика XIV.

Генерал Гейман (ум. в 1801 г.) — французский офицер, родом из Эльзаса; эмигрировав, вступил в ряды прусской армии.

Келлерман Франц Кристоф, герцог де Вальми (1735–1820) — маршал Франции, с конца 1792 г. — главнокомандующий восточным фронтом.

Красивый мальчик — судя по записям канцлера фон Мюллера (в его книге «Беседы с Гете»), стандарт-юнкер Карл Эмиль фон Бехтольсгейм (1779–1811), позднее ротмистр прусской службы; его мать — Юлия Августа Кристиана фон Бехтольсгейм (урожд. фон Келлер), супруга вице-канцлера в Эйзенахе.

Лоттум — прусский драгунский полк, входивший в состав бригады, которой командовал герцог Карл-Август.

Здесь и отныне… — Ср. с письмом Гете к Кнебелю от 29 сентября 1792 г.: «За эти четыре недели я многое понял, и этот несчастный образец похода заставил меня еще многое обмозговать. Я очень рад, что все это видел собственными глазами и что смогу сказать, когда при мне заговорят об этой важнейшей эпохе: et quorum pars minima fui (и моя малая доля есть в этом деле)».

Улисс едва ли… — в песни 14 «Одиссеи» (V, 457 и проч.) Одиссей, неузнанным вернулся в свой дом и при помощи

выдуманной им истории добился того, что его хозяин-свинопас дал ему свой плащ, дабы он мог им прикрыться и предаться целебному сну.

Полковник — старшин офицер после шефа полка, фактический командир такового.

Повальная болезнь — кровавый понос (дизентерия).

Калькрейт Фридрих Адольф, граф (1737–1818) — генерал прусской службы, главнокомандующий группы войск, осаждавших город и крепость Майнц.

Генералы Манштейн и Гейман. — Манштейн Иоганн Вильгельм (1729–1800), генерал-адъютант прусского короля. О Геймане см. выше.

…новая волна смертоубийств… — якобинский террор 2–5 сентября 1792 г. в Париже и других городах Франции.

Лукнер (Люкне) Николя, граф (1722–1794) — французский генерал, родился в Баварии; в 1792 г. командовал северной армией французов; в 1794-м казнен как изменник родины и революции.

История Людовика Святого. — Людовик IX, французский король, царствовал с 1226 по 1270 г. Упомянутый эпизод относится к шестому крестовому походу.

Рыцарь Жуанвиль, Жан, сеньор де Жуанвиль (1224–1309) — участвовал в шестом крестовом походе, описанном им во второй части его сочинения «Vie de Saint Louis» («Жизнь св. Людовика»), оконченного в год его смерти. Гете перечитал этот труд в 1796 г., уже обдумывая свою «Кампанию».

Аттила — король гуннов, был разбит на Каталаунских полях в 451 г. римским полководцем Аэцием и вестготскими князьями.

…время и сроки не стоят на месте даже в самый ненастный день. — Цитата из «Макбета» (I, 3) Шекспира, которую Гете приводит в прозаическом переводе Виланда. («Ах, будь что будет! Всякий день пройдет, какой бы он ни принял оборот»).

…вынул третий том «Физического словаря» Фишера. — Гете явно допускает ошибку. Пятитомник Фишера был напечатай и 1798–1804 гг; надо думать, что Гете имеет в виду третий том аналогичного труда Гелера.

Принц Брауншвейгский Фридрих-Вильгельм (1771–1815) — младший сын герцога Брауншвейгского, сменивший отца на герцогском престоле в 1806 г.

Гусар по имени Лизёр — из тех, что обслуживали нужды веймарского двора и верхнюю прослойку веймарского общества, был уроженцем Люксембурга.

Господин Курбьер Вильгельм-Рене, барон Ом де Курбе (1739–1807) — прусский фельдмаршал.

Барон Бретёй, Луи-Огюст ле Тоннелье (1733–1807) — министр Людовика XVI.

Дело об ожерелье (1785–1786) — одно из скандальных происшествий французского двора. Авантюристка и интриганка графиня де ла Мотт уверила кардинала Рогана, что королева Мария-Антуанетта хочет приобрести драгоценное ожерелье у двух ювелиров и просит его, кардинала, посодействовать ей в этом приобретении. Роган, желая угодить королеве, заключил договор с ювелирами от имени Марии-Антуанетты об уплате стоимости ожерелья в рассрочку. Ожерелье попало в руки авантюристки де ла Мотт. Когда наступил срок первого платежа, обман обнаружился. Роган действовал, не заподозрив де ла Мотт в авантюризме, и был оправдан королевским парламентом. Общественное мнение осудило королеву и придворную камарилью. Гете оценивал всю эту историю как «начало революции».

Кардинал де Роган, принц Луи (1734–1803) — кардинал, с 1778 г. князь, епископ Страсбургский.

Граф Гаугвиц Кристиан Аугуст Генрих Курт (1752–1822) — прусский дипломат. В 1775 г. сопровождал Гете и его друзей-поэтов, двух графов Штольбергов, в Швейцарию. В 1806 г. Гаугвицу было суждено сыграть незавидную роль при переговорах с Наполеоном. Пруссия после долгих колебаний согласилась наконец примкнуть к коалиции, то есть к Австрии и России, воевавшим с Наполеоном. Фридрих-Вильгельм III подписал ультиматум, ставящий в известность Наполеона об объявлении войны Французской империи. Отвезти этот документ в Вену король поручил графу Гаугвицу, но тот, прибыв в столицу Австрии уже после Аустерлица, кончившегося полным разгромом австро-русских армий, тут же нанес визит Наполеону. «Поздравляю ваше величество с блестящей победой!» — начал Гаугвиц с радостной улыбкой. «Фортуна переменила адрес на вашем поздравлении!» — прервал его император. В результате Гаугвиц был вынужден подписать (не имея на то даже полномочий) договор о военном союзе между Французской империей и Прусским королевством, продиктованный ему Наполеоном. Уступки ряда территорий Франции и Баварии были не так обидны, как «милостивое дарование» Пруссии Ганновера, принадлежавшего английскому королю. Фридриху-Вильгельму III пришлось со всем этим безропотно согласиться.

Офицеры Кёлера — из прусского гусарского полка, которым командовал Кёлер.

«Petite Ville» («Маленький город») — комедия Луи Пикара (1769–1828).

«Немецкие провинциалы» — комедия Коцебу, была поставлена в Веймарском театре; Гете исключил из текста комедии резкие выпады против поэтов-романтиков, чем вызвал недовольство автора.

Люксембург. — Эта крепость и город тогда входили в состав австрийских Нидерландов.

Редут — сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом и бруствером.

…запечатлевал на бумаге виды города… — Эти зарисовки Люксембурга частично найдены и репродуцированы в книге: Nikolaus Hein. Goethe in Luxemburg, 1940.

…в позднейшие времена Антонидов… — то есть римского императора Антония-Пия, Марка Аврелия (его полное имя — Марк Аврелий Антонин Август) и Антония-Комода.

Орден *«За заслугу»* («Pour la Mérite») — иначе «Голубой крест» — учрежден Фридрихом II в 1740 г.

Кантова «Критика способности суждения». — В отличие от «Критики чистого разума», гносеологического философского трактата Канта, не заинтересовавшего Гете, «Критика способности суждения», напротив, весьма понравилась ему, ибо подтверждала, как не раз отмечалось Гете, правильность его собственных «телеологических суждений».

Кюстин Адам Филипп де (1740–1793) — французский генерал, после ряда достигнутых им больших успехов: в 1792 г. им были заняты Шпейер (30 сентября), Майнц (22 октября) и Франкфурт (22 октября) — потерпел ряд поражений, был заподозрен в измене и казнен в конце 1793 г.

Франкфуртцы, обладавшие учеными степенями — образовывали особую коллегию, члены которой имели право занимать первые две скамьи в городском совете.

Мой молодой друг — Иоганн Гуго Виттенбах (1767–1848), тогда домашний учитель, позже директор гимназии и библиотекарь в Трире. В 1810–1822 гг. выпустил пятитомный труд «Опыт истории города Трира» (имеется позднейшее переиздание 1925 г.).

Тревиры (собственно, Треверы) — галльское племя германского происхождения, в 70 г. подчинившееся верховной власти Рима.

…курфюрст… присоединился к Франции… — Курфюрст Филипп Зодернский (1623–1652) примкнул во время Тридцатилетием войны к Франции и впустил французов в город Зодерн, откуда их вытеснили испанцы, взявшие в плен курфюрста Филиппа.

Монастырь св. Максима — бенедиктинского ордена;

воздвигнут еще во времена франконской державы, разрушен французами в 1794 г. и окончательно упразднен в 1802 г. Поначалу он непосредственно подчинялся верховной власти империи, но уже в XII в. подчинен архиепископом Альберо Трирским его власти; спор о трирском или имперском подчинении монастыря продолжался еще и в XVIII столетии.

Полковник Рафаил фон Гош — командир кирасирского полка, входившего в бригаду герцога К.-А. Веймарского.

Эренбрейтштейн — крепость близ Кобленца, резиденции курфюрста Трирского.

Маркиз Луккезини (1751–1825) — итальянец по крови, прусский дипломат, прикомандированный к главному штабу союзных армий. Гете встречался с ним в Риме и в Неаполе в 1787 г.

Эоптические явления (иначе: «физические явления»). — Так по Гете, называются цветовые явления, возникающие на тонких прозрачных поверхностях (например, на мыльных пузырях); относятся к интерферирующим, то есть взаимодействующим, явлениям (здесь — света и глаза).

…епископ перебрался в Регенсбург. — Клеменс-Венцель (1768–1812) — курфюрст Трирский, архиепископ, особо благоволил и поддерживал (преимущественно знатных) эмигрантов, бежал из Кобленца в Регенсбург при приближении французов.

…находиться в Силезской кампании… не состоявшейся благодаря Рейхенбахскому конгрессу. — В 1790 г. конфликт между Пруссией и Австрией почти привел к объявлению войны. Однако переговоры двух держав, происходившие в июле месяце, ликвидировали обострившийся конфликт. Герцог Карл-Август в качестве шефа прусского кирасирского полка участвовал в концентрации прусских войск в Силезии и вызвал Гете в место расположения своей части близ австрийской границы.

Мой реалистический взгляд. — Гете понял, что старые друзья не прощают ему его реализма, его перехода от субъективно-сентиментального к объективно-предметному воссозданию действительности. Опубликованное в 1806 г. собрание сочинений Губера подтвердило его догадку: «В увлечение Гете великой целью я больше не верю; его занимает постижение какой-то мудреной чувственности, идеал каковой он почерпнул в Италии, он предался поверхностному занятию всевозможными научными и прочими предметами, ничтожному по сравнению с его былой духовной деятельностью». Столь же неблагоприятны были и отзывы Якоби о его «реализме», в частности, о реалистических романах Гете — «Избирательном сродстве» и «Годах учения Вильгельма Мейстера»; но об этом Гете узнал позже, чем была им

написана «Кампания во Франции 1792 года».

Странное произведение — «Путешествие сыновей Мегапразона», роман, видимо, продолжавший сатирическую традицию Вольтера, так и оставшийся фрагментом.

«Эдип в Колоне» — перевод трагедии Софокла, выполненный графом Кристианом Штольбергом и посвященный им Гете. Перевод «Эдипа в Фивах» — был посвящен Штольбергом Фридриху Якоби.

Гурон. — Гуроны — одно из индейских племен Северной Америки, здесь: герой повести Вольтера «Простак» (иначе — дикарь), дикарскую наивность которого Гете «сохранил до зрелых лет».

Де Пау, Корнелии, уроженец Амстердама (1739–1799) — французский культурфилософ, автор ряда исследований об американцах, египтянах, китайцах и древних греках.

…ни за китайцами, ни за египтянами не признавал… достоинства… — Здесь речь идет о критике несостоятельной теории французского ориенталиста Жозефа де Гинье, согласно которой китайцы являются потомками древних египтян, оторвавшихся от африканской почвы и поселившихся на Дальнем Востоке. Де Пау разрушил эту легенду. Но ограничиваясь в своих философских исследованиях касательно египтян и китайцев одной этнографической проблемой, Пау возражает в этом своем сочинении и против идеализации китайских нравов и китайской культуры, хотя эту точку зрения и канонизировал своим авторитетом сам Вольтер (в своем сочинении «Китайские, индийские и татарские письма г-ну Пау, собранные бенедиктинцем»). Дело в том, что в основе этой идеализации восточных монархии лежало одно из основоположений политического учения французских физиократов, надеявшихся с помощью абсолютной власти французских королей преобразовать феодально-абсолютистское королевство в буржуазно-абсолютистское (в «экономическую монархию», согласно их терминологии). И отсюда — восхищение (прежде всего аббата Бодо и Мерсе де ла Ривера) тем, с какою благоговейною покорностью относятся китайцы к каждому слову своего властелина («Сына Небес», «земного воплощения божества»). Как видно, так понимаемый абсолютизм на малый срок пришелся по душе и Людовику XVI. В 1774 г. он призвал на должность министра финансов виднейшего физиократа Тюрго, который, будучи еще в «студенческом возрасте» приором Сорбонны, потряс своих слушателей замечательными рассуждениями, положившими начало философии истории. Все предсказывало ему блестящую карьеру ученого. Но Тюрго был прежде всего

гражданином. Мечтая быть государственным человеком в лучшем значении этого слова, он переключился на административную деятельность, и в этой области добившись немалого (если принять во внимание государственно-правовой уклад монархии Бурбонов). Приняв должность министра, Тюрго тут же пишет пространное письмо Людовику, замечательное по уму, по прямоте и блеску изложения, по зоркому предвидению предстоящих ему трудностей. Но трезвость ему изменяет, как только он высказывает надежду, что король будет поддерживать все намеченные им реформы. Тут Тюрго оказывается в плену физиократической доктрины, согласно которой монарх с «арифметической необходимостью» всегда будет преследовать «общую пользу», каковая является и его «личной пользой». Иными словами: «абсолютная власть» короля может и впредь существовать, если король будет опираться на «арифметическое большинство» населения, то есть на «третье сословие». Но это «арифметическое большинство», к тому времени еще не сложившееся в боеспособную организацию, никого поддержать не могло (да и не входила в доктрину физиократов «революция снизу»). Людовик XVI не был тем «абстрактным носителем благодетельной абсолютной власти», каким он представлялся аббату Бодо, а был главою дворянской монархии; дворянство же, точнее дворянская знать, представляло собою (в отличие от «арифметического большинства») вполне сплоченную и дееспособную силу. Попытка компромисса между «третьим сословием» и абсолютизмом кончилась отставкой Тюрго (1770 г.) и дворянской реакцией (1776–1789), предшествовавшей революционному взрыву.

Гемстергейс Франц (1728–1790) — нидерландский чиновник, философ и коллекционер, с 1775 г. друг княгини Голицыной; с нею посещал Гете в Веймаре (1785 г.). Мистик, религиозный мыслитель, он считается предшественником романтиков, а также процветавшей в начале XX в. «философии ценностей». Все его сочинения, написанные на французском языке, были частично переведены на немецкий язык Гердером и Якоби. Наибольшее философское влияние на Гемстергейса оказал Платон, которого он интерпретирует в духе Плотина и других неоплатоников. В подражание Платону Гемстергейс часто прибегал к форме диалога.

Княгиня Голицына Адельгейм Амалия (урожд. графиня Шметтау; 1748–1806) — в 1768 г. вышла замуж за русского посланника в Гааге князя Дмитрия Алексеевича Голицына. Вращалась в большом свете европейских столиц. В 1774 г. всецело занималась воспитанием дочери и сына; в 1779-м

переехала в Мюнстер, где поддерживала тесное духовное общение с бароном Францем фон Фюрстенбергом. В молодые годы под влиянием мужа, Дмитрия Голицына, друга Вольтера и Дидро, увлекалась философией французских просветителей; дружба с Гемстергейсом привлекла ее внимание к философам древнего мира, в частности, к Платону; в старости вернулась в лоно католической церкви, что отчасти произошло в результате ее длительного духовного общения с Фюрстенбергом. Но католицизм Голицыной вполне уживался с ее научными и художественными интересами. Дружба с Гемстергейсом, Якоби, Фюрстенбергом прошла через всю ее жизнь и косвенно повлияла на поэтов и художников романтической школы. В имении Якоби она в последний раз повстречалась с другом ее мужа Дидро, остановившимся в Пемпельфорте по дороге в Петербург, куда он ехал в 1773 г. по приглашению императрицы Екатерины II.

Гилозоизм — натурфилософское учение об одушевленности всякой материи; Гете к этому понятию, как правило, не прибегает; возможно, что он употребил этот термин под влиянием Пантовой «Критики способности суждения» («Критика телеологической способности суждения», § 72).

Кантово учение о природе. — Гете перечитывал, проживая у Якоби, «Метафизические основы естествознания» Канта.

…извечная полярность всего сущего… — Понятие полярности в сочетании с понятием усиления (возвышения над собой) для Гете основа основ воззрения на природу.

«Метаморфоза растений» — вышла впервые в 1790 г. Гете послал экземпляр Якоби; не раз упоминается в их переписке.

Закостеневшее представление. — Согласно учению о «преформации» ростка, зародыша, все становление в природе свелось бы только к «разворачиванию» уже существующего. Напротив, Гетево морфологическое учение о природе говорит о подвижной жизни таковой, об образовании и преображении органических тел, иначе — о метаморфозе.

Созерцать природу в духе Бонне. — Имеется в виду Шарль Бонне (1720–1793). Гете усердно читал в свое время его труды, но его раздражали риторические рассуждения Бонне о божественном происхождении природы, более того, он считал, что эти душеспасительные монологи мешают читателям воспринимать простые и дельные объяснения, которые он, Гете, дает «открытым тайнам» мироздания.

Гейнзе Иоганн Якоб Вильхельм (1746–1808) — писатель и искусствовед эпохи «Бури и натиска», сочетавший грациозную эротику Виланда с культом свободы, красоты и силы, автор нашумевшего романа «Ардингелло».

Зал Рубенса — пятый, замыкающий анфиладу зал Дюссельдорфской галереи, в котором тогда хранились такие картины Рубенса, как «Страшный суд», «Бой с амазонками», «Венок из фруктов» и т. д. Когда от Баварии в 1805 г. было отторгнуто герцогство Берг, картины Дюссельдорфской галереи были перевезены в Мюнхен, в Старую пинакотеку, где они находятся и теперь.

«Вознесение» Гвидо — «Вознесение Марии» Гвидо Рени.

Гудон Жан-Антуан (1741–1828) — замечательный французский скульптор.

Господин фон Гримм, Фридрих Мельхиор, барон (1723–1807) — французский писатель, немец по происхождению, издавал совместно с Дидро «Письма литературные, философские и критические» для герцога Готского и других владетельных князей.

Госпожа Бёй — внучка мадам д'Эпинай, старой подруги Гримма и благодетельницы Руссо. Эмигрировав из Франции, госпожа Бёй поселилась вместе с Гриммом и двумя дочерьми в Готе.

Госпожа фон Коуденховен София, (урожд. графиня фон Хацфельд; 1747–1825) умная светская дама, проводившая в мелких владетельных княжествах пруссофильскую политику.

Господин и госпожа фон Дом — Кристиан Вильгельм фон Дом (1751–1820), прусский дипломат.

Полусатурналии. — Сатурналии, празднования в честь бога Сатурна, в Древнем Риме отмечались роскошными пиршествами.

Тайный советник Гофман Кристиан Людвиг (1721–1807) — врач; заведовал санитарно-лечебной частью в Майнце.

…французы… продвинулись в Нидерландах… — Дюмурье очистил от австрийских войск австрийские Нидерланды.

Профессор Плессинг (1749–1806) — изучал в студенческие годы право и богословие; в 1778 г. поехал в Кенигсберг и там вплотную занялся философией; с 1788 г. профессор в Дуйсбурге. Писал о философии древних (особенно о древних египтянах и греках).

Влияние Йорика-Стерна. — Лоуренс Стерн (1713–1763). Йорик — имя священника в романе «Жизнь и взгляды Тристрама Шенди», а также псевдоним Стерна. Гете как писатель (и тем более как мемуарист) не находился под влиянием Стерна, но чтил его как родоначальника английского юмористического романа.

Генрих Липс (1758–1817) — художник, график, участник издания «Физиогномических фрагментов» Лафатера.

Пантограф — аппарат, способствующий правильному

перенесению на бумагу увеличенного или уменьшенного оригинала (при точном соблюдении его пропорций).

Котиледоны — завязи, початки.

Среди множества… визитов, которыми одолевали меня… — Намек на приезд в Веймар в 1776 г. Клингера и Ленца.

…разработка рудников в Ильменау. — В 1777 г. герцог Карл-Август поручил Гете возобновить эти горные разработки, приостановленные в 1734 г. В 1784 г. состоялось открытие старых рудников в Ильменау — предприятие, как вскоре оказалось, себя не оправдавшее: оскудение рудниковых залежей обнаружилось уже к концу XVIII в. Но для Гете это кратковременное «воскрешение горного дела» послужило могучим стимулом, помогшим ему освоить область геологии и минералогии. «Ильменау, — говорил Гете канцлеру фон Мюллеру, — стоил мне много времени, трудов и денег, зато я при этой оказии многому научился и приобрел взгляд на природу, который ни на что не променяю».

Советник Крауз — художник Георг Мельхиор Крауз (1736–1806).

Легационный советник Бертух — энергичный предприниматель, журналист, литератор.

Музеус Иогани Карл Август (1735–1787) — профессор веймарской гимназии, писатель, особенно сильный в своих обработках народных сказок.

Утверждение физиогномистов. — «Все имеет свою форму, проникнуто одним духом, обладает единым корнем. Поэтому каждое органическое тело является незыблемым целым… здесь ничто нельзя ни урезать, ни добавить… все у человека гомогенно: телосложение, осанка, цвет кожи, волос, нервы, костяк, голос, походка, поступки, его стиль, темперамент, любовь, ненависть».

Меррем Блазий (1761–1824) — профессор математики и физики в Дуйсбурге, позднее — в Марбурге.

Мюнстер, ноябрь 1792.— Над отрывком, помеченным этой датой, Гете работал с 1820 г., в начале и в конце 1821 г., а также в феврале и марте 1822 г. Гете писал этот отрывок воспоминаний непринужденно повествовательным слогом, с любовью и мягким вниманием, вдумываясь в психологию каждого изображаемого лица. А между тем за те без малого тридцать лет, прошедших со встречи в Мюнстере, Дюссельдорфе и в усадьбе Якоби, столь многое изменилось. Умерла княгиня Голицына и ее друзья Гемстергейс и Франц фон Фюрстенберг; в 1819 г. умер поэт граф Фридрих Леопольд Штольберг (в 1792 г. еще не ставший католиком). Этот «возврат к старой вере» состоялся только в 1800 г., что сразу привело к разрыву между ним и поэтом-

переводчиком Фоссом (1751–1826). Все эти выбывшие из числа живущих лица едва ли бы занимали более юные поколения немцев, если бы Фосс не разразился в 1819 г. резкой статьей против вероотступничества младшего из двух поэтов Штольбергов. Последний взялся было ответить Фоссу, но умер в том же году, так и не дописав своего «Краткого ответа на пространную хулу господина надворного советника Фосса». (Закончить его пришлось его старшему брату Кристиану Штольбергу.) Но спор вокруг этой дискуссии тянулся еще долго, тем более что он был направлен против католических тенденций романтиков. Гете тоже вмешался в этот спор, резко возражая против «ханжеского неокатолического сентиментализма» романтического искусства и литературы. Но на отрывке, помеченном ноябрем 1792 г., эти антиромантические настроения Гете не сказались: в нем царит гуманная веротерпимость и уважение к религиозным убеждениям противников.

Фюрстенберг Франц фон (1724–1810) — викарный епископ и государственный деятель в Мюнстерском курфюршестве. Епископом он так и не сделался, ибо по настоянию Австрии епископом Кельнским и Мюнстерским был рукоположен младший сын императрицы Марии-Терезии эрцгерцог Макс-Франц. Энергично занимался делами просвещения, основал Мюнстерский университет. Княгиня Голицына сблизила Фюрстенберга с кругом Якоби.

Гаманн Иоганн Георг (1730–1788) — учился в Кенигсбергском университете на юридическом и богословском факультетах, но позднее занимался философией и литературой. Через все его философские и литературные труды проходит идея единства чувственного и духовного начал: в языке эти два начала совпадают. Язык — мать разума, поэзия — первичный язык человечества. Язык писаний Гаманна нарочито тёмен (почему за ним закрепилось название «северного мага»). В 1787 г. получил скромную пенсию и поехал в Мюнстер к княгине Голицыной, где и умер. Похоронен в саду Голицыной, хотя католическое кладбище и согласилось захоронить его — лютеранина — в «освященной земле».

Благотворительность. — Голицына учредила общество для оказания помощи впавшим в нужду французским эмигрантам.

«Духовно-нравственное», «чувственно-эстетическое», «прекрасное» — термины философских работ Гемстергейса. В отличие от материалистов и атеистов философии французских просветителей, Гемстергейс учит, что душа имматериальна и что «к миру принадлежит, как его причина, необходимое существо бога творца».

«Римский год». — Этот цикл стихотворений так и не был осуществлен Гете.

«Луиза» Фосса очень нравилась Гете, он не раз читал ее в кругу друзей и на более людных сборищах.

Мой приезд в Веймар… — Гете прибыл в Веймар 16 декабря 1792 г.

…дом… предназначенный… государем… — Дом на Фауэнплане, в котором Гете проживал с 1782 г., был ему подарен герцогом на исходе 1792 г.

Иффланд Аугуст Вильгельм (1759–1815) — актер и драматический писатель, с 1779 г. возглавлял Маннгеймский театр, с 1796-го — Берлинский. Автор многочисленных мещанских драм и мелодрам, пользовавшихся большим успехом.

Коцебу Аугуст фон (1761–1814) — убит студентом Зандом за реакционную информацию о немецком студенчестве, которую он направлял царю Александру I. Плодовитый и пользовавшийся наибольшим успехом у зрителей автор драм и комедий (последние ему особенно удавались).

Шредер Фридрих Людвиг (1744–1816) — выдающийся актер и директор Гамбургского театра, автор ряда мещанских комедий и мелодрам; постановщик пьес Шекспира.

Бабо Мариус (1756–1822) — режиссер-постановщик Придворного театра в Мюнхене. *Циглер* Фридрих Вильгельм (1756–1827) — актер Бургтеатра в Вене. *Бретцнер* Фридрих Вильгельм — лейпцигский купец и комедиограф, автор либретто «Похищение из сераля» Моцарта. *Юнгер* Иоганн Фридрих (1759–1835) — романист и комедиограф в Вене.

Из произведений Шекспира исполнялись в Веймарском театре в 1791–1799 гг. «Гамлет», «Король Джон», и «Генрих IV», ч. 1 и 2; из пьес итальянского комедиографа графа Гоцци в те же годы была поставлена «Принцесса Турандот» (в переводе Шиллера); из пьес Шиллера — «Разбойники» и «Дон Карлос».

Хагедорн Фридрих-Густав (1760–1835) — актер и драматург; *Хагемейстер* Иоганн Готфрид Лукас (1762–1806) — ректор университета в Анкламе и комедиограф.

Диттерсдорф Карл Дитер фон (1739–1799) — популярный композитор второй половины XVIII в., автор многих комических опер.

Итальянская опера — была представлена в репертуаре 1791–1793 гг. сочинениями композиторов Панзиелло Дж. (1740–1816), Чимарозы Доменико (1749–1801), Гульельми Пиетро (1727–1804).

Гений Моцарта. — В 1791–1793 гг. в Веймаре шли следующие его оперы: «Похищение из сераля», «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».

Кибела — женское божество, аллегорически изображающее материнство, почиталось в Малой Азии, позднее в Греции и Риме.

Карнеоль — красный самоцвет.

Сосикл (Сосокл) — резчик по камню в эпоху императора Августа.

…где она теперь находится… — В первой тетради четвертого тома журнала «Kunst und Altertum» за 1807 г. Гете сообщает своим читателям, что собрание гемм, некогда принадлежавшее княгине Голицыной, с 1806 г. хранится в кабинете медалей нидерландского короля Людовика (Бонапарта).

…я проклинал дерзких обманщиков и мнимых энтузиастов… — Гете имел в виду увлечение Джузеппе Бальзамо (так называемым графом Калиостро) также и Лафатера.

«Король Теодоро»(«Re Teodore») — опера Паизиелло, произведшая на Гете «отличное впечатление».

Рейхардт Иоганн Фридрих (1752–1814) — дирижер и композитор, проживавший в Берлине, в апреле 1789 г. побывал в Веймаре и с тех пор поддерживал дружеские отношения с Гете.

Чудодей Кофта. — См. т. 4 наст. Собр. соч.

«Гражданин генерал» — одноактная комедия (см. там же).

«Два билета» — одноактная комедия Антона Валля (псевдоним драматического писателя Кристиана Леберехта Гейне; 1751–1821) по пьесе Клари де Флориана.

Бек Иоганн Фридрих — актер Веймарского театра с 1793 по 1800 г.

Малькольми Карл Фридрих — до 1817 г. играл на веймарской сцене.

«Разговоры немецких беженцев» — цикл рассказов Гете; см. т. 6 наст. Собр. соч. — *«Герман и Доротея»* — поэма в девяти песнях; см. т. 5. — *«Рейнеке-лис»,* поэма в двенадцати песнях; см. т. 5. Переложение гекзаметрами прозаической обработки Готшеда нижненемецкой поэмы «Reinke de Vos».

В предисловии к «Георгикам» Вергилия Фосс излагает свою теорию «немецкого гекзаметра», которой Гете пытался следовать, но каковую потом решительно отверг.

…1649 годом… — После многолетней гражданской войны английский парламент лишил Карла I престола и приговорил его к смертной казни.

…что пришлось испытать в декабре и январе… — 21 января 1793 г. король Людовик XVI был казнен на Гревской площади в Париже. 2 декабря 1792 г. Франкфурт снова был в руках немцев.

Генерал Нойвингер Жозеф Виктор (1736–1808) — был взят в плен австрийцами.

Приведенные стихи были воспроизведены под гравюрой № 2,

выполненной по эскизу Гете. Всего было выполнено в 1821 г. шесть таких гравюр по рисункам (эскизам) Гете художником и гравером Швертгабуртом.

Н. Вильмонт

notes

Примечания

1

Пруссаки смогут войти в Париж, но из него не вернутся *(франц)*.

2

Хороший белый хлеб, хороший суп, хороший кусок мяса, хорошее пиво *(франц.)*.

3

Перед нашими дамами *(франц.)*.

4

Спокойной ночи, папа! Спокойной ночи, мама! *(франц.)*

«Маленький город» *(франц.)*.

6

Приказы *(франц.)*.

7

Перевод Е. Витковского.

8

Перевод С. Ошерова.